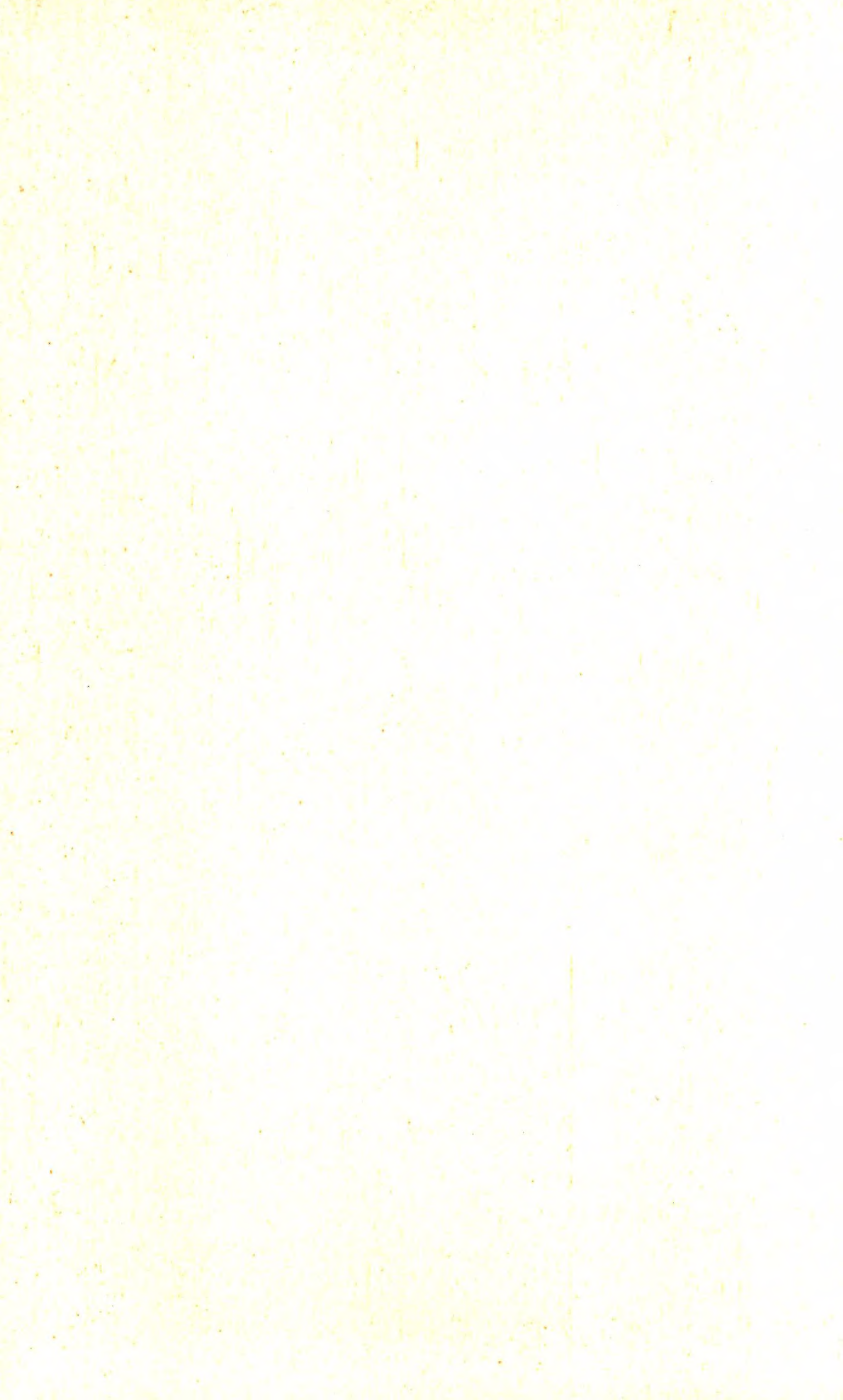

П.П.Бажов
Ключ земли
Д

24.09.98 г

Г[redacted] Данила





П. П. Бажов

Ключ земли

Уральские сказы





Москва
«Детская литература»
1989

ББК 84Р1
Б16

ПЕРЕИЗДАНИЕ

Вступительная статья *А. Кондратовича*

Рисунки *В. Самойлова*

Б $\frac{4803010102-379}{М101(03)-89}$ **Без объявл.**

ISBN 5–08–002237–X

© Состав. Вступительная статья. Комментарии. Иллюстрации
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1989

ЧУДОДЕЙ СЛОВА

Доброй завистью завидую сказочникам: после колыбельных песен, которые мы слышим в младенчестве, еще не вполне понимая смысла слов, в наш мир входит сказка, да так и остается с нами на всю жизнь. Потом мы читаем сказки своим детям, а через какое-то время, становясь дедушками и бабушками, и внукам, а если повезет, то и правнукам. И хорошо знаем, что от внуков и правнуков они перейдут дальше к внукам внуков и правнуков. Оттого сказка, наверное, кажется вечной: она — бесценное духовное наследие, которое не тускнеет от времени и во всей своей первозданности воспринимается каждым новым поколением людей.

Какие счастливцы эти сказочники, думаю я иногда. Фантазия их будет волновать детское сознание много-много лет, и миллионы ребят будут просить тех, кто повзрослее: «Прочитай, ну, я тебя прошу, прочитай мне сказку!»

Магическая и поистине чудодейственная сила заключена в сказке — сила доброты, любви, нежности, высокого благородства и доблестного мужества, побеждающих зло, и все это в живом, стремительном действии, в фейерверке невероятных приключений и превращений, от которых то сердце замирает в страхе, то душа переполняется счастьем.

Дар сказочника — дар редкий. Немногие сказки остаются в литературе. И очень редко случается так, чтобы объявился человек, открывший нам целую россыпь сказок, свой, ни на кого не похожий, сказочный мир.

Таким был замечательный советский писатель Павел Петрович Бажов (1879—1952).

Несколько лет назад вышла большая книга воспоминаний о нем. Называется она «Мастер, мудрец, сказочник». Не случайно в названии книги вспыхивают слова «мастер» и «мудрец». Потому что Павел Петрович был тончайшим искусником слова, настоянного на народной мудрости, несущего глубокий, как бы он сам сказал, «долговекий» смысл. Его Главная Книга — «Малахитовая шкатулка» — это кладезь премудрости и образец высочайшего писательского мастерства; любое слово с умом выбрано, каждая фраза ювелирно отгранена, а весь сказ (так сам Павел Петрович называл свои сказки) — будто небывалой красоты самоцвет, а вся книга — и впрямь чудесная малахитовая шкатулка, наполненная драгоценностями словесного искусства.

Первые сказы Бажова стали появляться в журналах и сборниках с

1936 года. А в 1939 году вышло первое издание под одной обложкой с тем названием, которое мы знаем,— «Малахитовая шкатулка». Можно без всякого преувеличения сказать, что это было целое событие в нашей литературе. О неведомом до того сказочнике с Урала заговорили, появились статьи, рецензии, полные удивления, какой замечательный художник слова объявился нежданно-негаданно в Свердловске. Все заинтересовались: а какой он, молодой или старый, давно ли пишет или только начал писать? По самой книге чувствовалось, что человек он немолодой, столько жизненного опыта, мудрости таилось в «шкатулке», но одно дело чувствовать, другое — точно знать. И из печати я кое-что узнал уже тогда.

Родился Павел Петрович Бажов 28 января 1879 года (значит, к моменту выхода «Малахитовой шкатулки» было ему шестьдесят лет — много!) в семье мастера одного из медеплавильных заводов старого Сысертского горного округа — это самая сердцевина горнорабочего Урала, где плавкой меди занимались чуть ли не с семнадцатого века. Здесь сложились не только рабочие традиции, но и сопутствующий традициям фольклор, легенды, передававшиеся из уст в уста, от рода к роду. С детства Бажов слышал эти рассказы, и они как бы само собой осели в памяти.

Была, например, возле рабочего поселка, где жил будущий писатель, Думная гора, и существовало предание, что Думной она называется, потому что возле нее когда-то сам Емельян Пугачев «думал думу свою». И жили в поселке, затрудняюсь даже назвать их сказителями, просто памятливые люди, не лишенные собственной фантазии, природного художественного дара, они-то и хранили старинные горняцкие были и легенды. От них юный Павел и услышал сказы о змее Полозе и его дочерях Змеевках, о Хозяйке Медной горы и Девке-Азовке. А поскольку горняцкий труд не только тяжкий, но требует ума, проницательности, загадочного чутья, по которому можно выйти на «медную жилу» или на иное богатство, то как-то так получалось, что легенды переносили эти качества с живых людей на сказочные существа, которые охраняют тайны уральских недр и раскрывают свои секреты только смелым да умелым горщикам, «первым добытчикам».

И это тоже запало в душу будущего писателя. Но до того, как он все это выразил на бумаге, прошло много лет...

С большим трудом, урезая себя во всем, родители Бажова смогли дать своему единственному сыну неплохое образование. Еще мальчиком он уехал в Екатеринбург (ныне Свердловск) и поступил в то училище, где за двадцать лет до него учился замечательный писатель, открывший читательской России Урал,— Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк; а потом закончил Пермскую духовную семинарию, где учился изобретатель радио Александр Степанович Попов. Но пошел Бажов вовсе не по

«духовной линии», а стал в 1899 году, как раз в конце девятнадцатого века и накануне нашего, двадцатого, народным учителем.

Свой трудовой путь он начал в глухой уральской деревне Майдерихе, и это было не случайно: молодой человек был настроен прогрессивно, видел смысл жизни в том, чтобы нести свет знаний и науки неграмотным и забитым людям. Вера в то, что этот свет рано или поздно придет ко всему народу, никогда не оставляла Бажова. Жизнь простого люда во всех проявлениях постоянно интересовала его. И где-то в глубине души потаенно жили слышанные в детстве сказы и легенды, рассказы любимой бабушки Авдотьи Петровны, очень талантливой, с певучей многоцветной речью выдумщицы и добросказительницы. Павел Петрович вспоминал о ней всегда с благоговением, считая ее вдохновительницей своих литературных трудов над сказами. Наверное, о ней он вспоминал и когда в течение пятнадцати лет во время школьных каникул странствовал по Уралу, слушая были и похожие на чудесные сказки небыли от камнерезов и сталеваров, гранильщиков драгоценных камней и оружейников, знатоков тайн златоустского булата. Нет, в то время он еще не помышлял стать писателем, но внутренне как бы предчувствовал свое будущее и записывал все услышанное и увиденное, накапливая, как он скажет потом, «своеглазное знание».

С первых дней Октябрьской революции весь жар своего сердца Бажов отдает борьбе за утверждение Советской власти. Революция привела его в литературу. «Вероятно, никаких литературных работ у меня не было бы, если бы не революция»,— напишет он позже. От записей фольклора в дореволюционное время он переходит к собственному творчеству. Пока это очерки, фельетоны, статьи и коротенькие заметки: Павел Петрович был назначен в 1918 году редактором дивизионной газеты «Окопная правда». Он не только редактирует, но и активно участвует в сражениях, а одно время работает начальником информационного отдела штаба дивизии. Сражалась эта дивизия на Урале с колчаковцами и английскими интервентами, а когда Колчак одержал временную победу, Бажов ушел в подполье. К этому времени он уже член большевистской партии. О борьбе против врагов Советской власти в трудных и сложных условиях он потом подробно расскажет в одной из первых автобиографических книг «За советскую правду». Когда же Колчак завладел Сибирью, партия послала Бажова в Томский край для организации повстанческих отрядов, и он впервые покидает свой родной Урал.

Это время отмечено в жизни Павла Петровича необыкновенными событиями. Под различными фамилиями, рискуя жизнью, он исколесил всю Сибирь. Он даже в Казахстане и предгорьях Алтая побывал. Тут уж было не до литературных занятий, и вернулся Павел Петрович к ним лишь после того, как вся Сибирь была очищена от колчаковцев и белых банд, когда стала налаживаться мирная жизнь.

Лишь в 1923 году Бажов возвращается в свой родной Свердловск. Семь лет он работает в местной «Крестьянской газете» и в качестве корреспондента вновь, как в учительские годы, много ездит по уральским деревням и заводам. Много пишет. Печатается. Выходят его книги. Первая — «Уральские были» (1924) — о дореволюционном быте Сысертских заводов. Потом — книга «За советскую правду» (1926), спустя восемь лет, в 1934 году, выходит книга «Бойцы первого призыва» — об истории полка Красных орлов, а через два года — «Формирование на ходу» о Камышловском полку. Все это книги, во-первых, автобиографические, а во-вторых, историко-революционные.

Казалось, ничто не предвещало крутого поворота журналиста, отчасти краеведа, больше историка недавних грозных событий к сказовой тематике, к открытию целого никому не ведомого материка. Серьезный, многоопытный редактор и автор строго документальных повествований даже поначалу стесняется, словно баловства, того, что станет сутью его жизни и вознесет его на вершину литературной славы. Свою первую повесть для детей «Зеленая кобылка» он выпустил в 1939 году под шутливым псевдонимом «Егорша Колдунков». Но к этому времени существовала немалая часть «Малахитовой шкатулки», кое-что из нее было опубликовано. Многие опытные писатели, а не только читатели, восприняли сказы как горнозаводской уральский фольклор. Но более внимательный взгляд мог приметить, что это не просто записи: большое словесное искусство таилось в сказах. Да и успех они быстро завоевали, потому что за ними чувствовался незаурядный литературный талант.

Слава пришла к Бажову неожиданно для него самого, и уже не покинула. Он словно извлек из уральской земли самородки и заставил нас дивоваться ими, а сам стал в сторонку, улыбаясь добрыми голубыми глазами, как бы вопрошая: «Нравится, говорите? Ну, и хорошо, что нравится. Хорошо для вас, и для меня неплохо».

Редко бывает, чтобы человек открывал в себе талант в таком позднем возрасте. Зато возраст как бы охраняет его от самолюбования и тем более зазнайства. Павел Петрович Бажов до конца жизни был прост и естествен. Над каждым новым сказом трудился так, словно он был первым и последним в его жизни.

Оказавшись в начале сороковых годов в Свердловске, мы с приятелем решили однажды лично познакомиться с Павлом Петровичем. И помню, нас никто не отговаривал: могли бы сказать, куда это вы к старому да занятому и — самое главное — к знаменитому. Но не сказали, и, как я теперь понимаю, это уже само по себе многое говорило о Бажове-человеке.

В один из холодных осенних дней мы подошли к старому дому из потемневших сосновых бревен на углу улиц Чапаева и Большакова, это недалеко от центра города, малость потоптались, все-таки что-то близкое

к испугу дохнуло на нас, но решились и позвонили с немного просевшего от непогоды приступка. «Мы бы хотели видеть Павла Петровича Бажова»,— сказал кто-то из нас открывшей нам дверь женщине. Та ничего не спросила и не удивилась: наверно, и ребята, и юноши вроде нас туда часто наведывались. Сказала: «Проходите!» Мы и пошли в прихожую и в полусумраке позднего осеннего дня увидели выходящего нам навстречу небольшого старичка с узкой и длинной бородкой, и тут не знаю, как мой приятель, но я струхнул: «Тоже мне любознайки, нашли кого отвлекать от серьезных дел...» Но старичок, почему-то в валенках, хотя никакого снега еще не было, просто и добро посмотрел на нас и сказал: «Проходите, проходите, какие у вас дела ко мне?..» — и повел в свой кабинет. Дел у нас не было, и нам было стыдно. Но он сел в кресло, еще пристальнее взглянул на нас удивительно чистыми голубыми глазами, и во взгляде том было понимание, что пришли мы всего лишь познакомиться, посмотреть на него, и помню, он очень приятно улыбнулся. Не снисходительно, нет! Он улыбнулся нам так, словно знал нас давно, и, наверное, оттого нам сразу стало легко и просто.

Я бы мог долго вспоминать теперь, о чем мы говорили, наверное, часа полтора, но всего важнее отметить простоту и умное благородство, истинную интеллигентность старого писателя, который ни разу не дал и намеком понять, что ему не до нас. Напротив, он сам меньше говорил, а все больше спрашивал, как учимся и что собираемся дальше после учебы делать. Было видно, что «племя младое» вовсе не было ему «незнакомым», он знал, чувствовал своих читателей и — не боюсь сказать — был доволен, что вот нашлись такие, которым захотелось проведать его, старика, хотя, судя по всему, в гостях у него никогда недостатка не было.

Когда вы будете читать сказы Бажова впервые, то сразу же обратите внимание на тончайшую словесную вязь, с помощью которой созданы эти самоцветы искусства. В беседе с нами Павел Петрович был проще. Он был одновременно и как бы нашим дедушкой, и старым внимательным товарищем. Теперь я понимаю, каких трудов стоила ему каждая фраза сказов. Не потому ли он писал немного: два-три сказа в год, иногда немного больше, иногда меньше. Он добывал их великим трудом из небытия, как добывают драгоценности его герои: рудознатцы и рудокопы,— горщики (это слово было любимым у Павла Петровича).

В сказках Бажова возникает и проходит перед нами целая галерея самых разных персонажей — от малахитницы, Хозяйки Медной горы, до своекорыстных хозяйчиков и управляющих, жадных, обирающих простой люд, вроде приказчика-убийцы Северьяна («Приказчиковы подошвы») или спесивого немца Штофа («Иванко Крылатко»). Но главными, самыми привлекательными для него всегда были люди дела, знающие и чующие любой камень и руду. Ими любуется сама сказочная сила

и всегда идет им навстречу, только в них видя истинных своих друзей, перед которыми и тайны раскрыть все равно что благо для себя сделать. И сколько привлекательности в Степане из «Малахитовой шкатулки» или в рукодельнице Танюшке из того же сказа, в горнорабочем Тимохе из «Живинки в деле» или в Иванко Крылатко из одноименного сказа!

Но почему же все сказы и сказы, а не просто сказки? Ведь в них действуют и гигантский змей Полоз — охранитель золотых руд, и его дочери Змеевки, и бабка Синюшка, берегущая бездонный колодец с самоцветами, и девчоночка Огневушка-Поскакушка, и даже козлик Серебряное копытце? Бажов словно нарочно уходит в тень великого сказителя — самого народа и говорит самим названием «сказы», что он всего лишь пересказывает то, что узнал от своих многочисленных друзей, встреченных на разных путях-перепутьях. «Одареннейший мастер слова,— писала о Бажове писательница Мариэтта Шагинян,— он сумел слить, сочетать свои наблюдения в прозрачную ткань искусства...» Я бы добавил к этому, что он внес в свои сказы бесценные запасы своего щедрого ума и выдумки.

Небольшой старичок, словно гномик из сказки,— таким вспоминают Бажова, и я навсегда запомнил его стариком, с высоким и почти неморщинистым лбом мудреца, очень реального Павла Петровича с улицы Чапаева, с такими глазами, которые, кажется, все на свете видели и понимали. Певец мастерства, он сам был Мастером. Поэт мастерового люда, он сам был замечательным Мастеровым в литературе.

Вы знаете, как это много?

Как я вам завидую! Сейчас вы откроете бажовские сказы, и начнете читать их, и погрузитесь в чудесный мир любви, доброты, труда и искусства.

Так скорее перелистывайте страницу!

Алексей Кондратович

МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА



Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были. За Северушкой где-то. День праздничный был, и жарко — страсть. Парун* чистый. А оба в горе робили, на Гумешках то есть. Малахит-руду добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королек с витком попадали и там протча, что подойдет.

Один-то молодой парень был, неженатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе изробленный*. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись. И кашлял завсе* тот человек.

В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух легкий. Их, слышь-ко, и разморило. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железну руду добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной, да сразу и уснули. Только вдруг молодой,— ровно его кто под бок толкнул,— проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе видать — девка. Коса ссизачерная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь. Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо — на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Однем словом, артуть*-девка. Слыхать — лопочет что-то, а по-каковски — неизвестно, и с кем говорит — не видно. Только смешком все. Весело, видно, ей.

Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло.

— Мать ты моя, да ведь это сама Хозяйка! Ее одежа-то. Как я сразу не приметил? Отвела глаза косой-то своей.

А одежа и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить.

«Вот,— думает парень,— беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила». От стариков он, вишь, слыхал, что Хозяйка эта — малахитница-то — любит над человеком мудровать.

Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой:

— Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-то ведь деньги берут. Иди-ка поближе. Поговорим маленько.

Парень испужался, конечно, а виду не показывает. Крепится. Хоть она и тайна сила, а все-таки девка. Ну, а он парень — ему, значит, и стыдно перед девкой обробеть.

— Некогда,— говорит,— мне разговаривать. Без того проспали, а траву смотреть пошли.

Она посмеивается, а потом и говорит:

— Будет тебе наигрыш вести. Иди, говорю, дело есть.

Ну, парень видит — делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит, обойди-де руду-то с другой стороны. Он и обошел и видит — ящерок тут несчисленно. И все, слышь-ко, разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло либо слюда, блестят, а другие как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены.

Девка смеется.

— Не расступи,— говорит,— мое войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня маленьки.— А сама ладошками схлопала, ящерки и разбежались, дорогу дали.

Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала, да и говорит, и все смехом:

— Теперь тебе ступить некуда. Раздавишь мою слугу — беда будет.

Он поглядел под ноги, а там и земли незнатко. Все ящерки-то сбились в одно место,— как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан — батюшки, да ведь это руда медная. Всяких сортов и хорошо отшлифована. И слюдка



тут же, и обманка, и блески всякие, кои на малахит походят.

— Ну, теперь признал меня, Степанушко? — спрашивает малахитница, а сама хохочет-заливается. Потом, мало погодя, и говорит:

— Ты не пужайся. Худого тебе не сделаю.

Парню забедно* стало, что девка над ним насмехается да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже:

— Кого мне бояться, коли я в горе роблю!

— Вот и ладно,— отвечает малахитница.— Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик*, ты ему и скажи, да, смотри, не забудь слов-то:

«Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе, душно́му козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в Гумешках туда спущу, что никак ее не добыть».

Сказала это и прищурилась:

— Понял ли, Степанушко? В горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела, а теперь иди да тому, который с тобой, ничего, смотри, не говори. Изробленный он человек, что его тревожить да в это дело впутывать. И так вон лазоревке сказала, чтоб она ему маленько пособила.

И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук-ног — лапы у ее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит:

— Не забудь, Степанушко, как я говорила. Велела, мол, тебе, душно́му козлу, с Красногорки убираться. Сделаешь по-моему, замуж за тебя выйду!

Парень даже сплюнул вгорячах.

— Тьфу ты, погань какая! Чтоб я на ящерке женился.

А она видит, как он плюется, и хохочет.

— Ладно,— кричит,— потом поговорим. Может, и надумаешь.

И сейчас же за горку, только хвост зеленый мелькнул.

Парень остался один. На руднике тихо. Слышно толь-

ко, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились, а у Степана одно на уме: как ему быть? Сказать приказчику такие слова — дело не малое, а он еще,— и верно,— душно́й был — гниль какая-то в нутре у него, сказывают, была. Не сказать — тоже боязно. Она ведь Хозяйка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть. Выполняй тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвастуном себя оказать.

Думал-думал, насмелился:

— Была не была, сделаю, как она велела.

На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит:

— Видел я вечор Хозяйку Медной горы, и заказывала она тебе сказать. Велит она тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на Гумешках туда спустит, что никому не добыть.

У приказчика даже усы затряслись.

— Ты что это? Пьяный али ума решился? Какая Хозяйка! Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!

— Воля твоя,— говорит Степан,— а только так мне велено.

— Выпороть его,— кричит приказчик,— да спустить в гору и в забое* приковать! А чтобы не издох, давать ему собачьей овсянки и уроки спрашивать без поблажки. Чуть что — драть нещадно!

Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель руднишный,— тоже собака не последняя,— отвел ему забой — хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было,— крепость*. Всяко галились* над человеком. Надзиратель еще и говорит:

— Прохладись тут маленько. А уроку с тебя будет чистым малахитом столько-то,— и назначил вовсе несообразно.

Делать нечего. Как отошел надзиратель, стал Степан каелкой* помахивать, а парень все-таки проворный был. Глядит — ладно ведь. Так малахит и сыплется, ровно кто

его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя. Сухо стало.

«Вот,— думает,— хорошо-то. Вспомнила, видно, обо мне Хозяйка».

Только подумал, вдруг звосияло. Глядит, а Хозяйка тут, перед ним.

— Молодец,— говорит,— Степан Петрович. Можно чести приписать. Не испужался душно́го козла. Хорошо ему сказал. Пойдем, видно, мое приданое смотреть. Я тоже от своего слова не отпорна.

А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, со Степана цепь сняли, а Хозяйка им распорядок дала:

— Урок тут наломайте вдвое. И чтобы на отбор малахит был, шелкового сорту.— Потом Степану говорит: — Ну, женишок, пойдем смотреть мое приданое.

И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет — все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазоревые. Однем словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней — на Хозяйке-то — меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна-медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Идут-идут, остановилась она.

— Дальше,— говорит,— на многие версты желтяки да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после Гумешек самое дорогое место.

И видит Степан огромадную комнату, а в ней постели, столы, табуреточки — все из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок темно-красный под чернетью, а на ем цветки медны.

— Посидим,— говорит,— тут, поговорим.

Сели это они на табуреточки, малахитница и спрашивает:

— Видал мое приданое?

— Видал,— говорит Степан.

— Ну, как теперь насчет женитьбы?

А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышь-ка, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну, ко-

нечно, против малахитницы где же ей красотой равняться! Простой человек, обыкновенный. Помялся-помялся Степан, да и говорит:

— Приданое у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой.

— Ты,— говорит,— друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж али нет? — И сама вовсе принахмурилась.

Ну, Степан и ответил напрямки:

— Не могу, потому другой обещался.

Молвил так-то и думает: огневается теперь. А она вроде обрадовалась.

— Молодец,— говорит,— Степанушко. За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменну девку.— А у парня, верно, невесту-то Настей звали.— Вот,— говорит,— тебе подарочек для твоей невесты,— и подает большую малахитову шкатулку. А там, слышь-ко, всякий женский прибор. Серьги, кольца и протча, что даже не у всякой богатой невесты бывает.

— Как же,— спрашивает парень,— я с эким местом наверх подымусь?

— Об этом не печалься. Все будет устроено, и от приказчика тебя вызволю и жить безбедно будешь со своей молодой женой, только вот тебе мой сказ — обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай поешь маленько.

Схлопала опять в ладошки, набежали ящерки — полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и протчим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит:

— Ну, прощай, Степан Петрович, смотри не вспоминай обо мне.— А у самой слезы. Она это руку подставила, а слезы кап-кап и на руке зернышками застывают. Полнехонька горсть.— На-ка вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь.— И подает ему.

Камешки холодные, а рука, слышь-ко, горячая, как есть живая и трясется маленько.

Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает:

— Куда мне идти? — А сам тоже невеселый стал. Она указала перстом, перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне,— опять всяких земельных богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала, Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошел. Посмеяться ладил, а видит — у Степана поверх урока наворочено, и малахит отбор, сорт сортом. «Что,— думает,— за штука? Откуда это?» Полез в забой, осмотрел все, да и говорит:

— В этом-то забое всяк сколь хошь наломает.— И повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил.

На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает, да еще королек с витком попадать стали, а у того — у племянника-то,— скажи на милость, ничего доброго нет, все обальчик да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело. Побежал к приказчику. Так и так.

— Не иначе,— говорит,— Степан душу нечистой силе продал.

Приказчик на это и говорит:

— Это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим, пущай только малахитовую глыбу во сто пуд найдет.

Велел все-таки приказчик расковать Степана и приказ такой дал — на Красногорке работы прекратить.

— Кто,— говорит,— его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла, только чугуну порча.

Надзиратель объявил Степану, что от его требуется, а тот ответил:

— Кто от воли откажется? Буду стараться, а найду ли — это уж как счастье мое подойдет.

Вскорости нашел им Степан глыбу такую. Выволокли ее наверх. Гордятся — вот-де мы какие, а Степану воли не дали.

О глыбе написали барину, тот и приехал из самого,

слышь-ко, Сам-Петербурху*. Узнал, как дело было, и зовет к себе Степана.

— Вот что,— говорит,— даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из них вырубить столбы не меньше пяти сажен долиной.

Степан отвечает:

— Меня уж раз оплели. Ученый я ноне. Сперва вольную пиши, потом стараться буду, а что выйдет — увидим.

Барин, конечно, закричал, ногами затопал, а Степан одно свое:

— Чуть было не забыл — невесте моей тоже вольную пропиши, а то что это за порядок — сам буду вольный, а жена в крепости.

Барин видит — парень не мягкий. Написал ему актовую бумагу.

— На,— говорит,— только старайся смотри.

А Степан все свое:

— Это уж как счастье поищет.

Нашел, конечно, Степан. Что ему, коли он все нутро горы вызнал и сама Хозяйка ему пособляла. Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Сам-Петербурхе отправил. А глыба та, которую Степан сперва нашел, и посейчас в нашем городу, говорят. Как редкость ее берегут.

С той поры Степан на волю вышел, а в Гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка. О корольке с витком и слыхом не слыхать стало, и малахит ушел, вода долить* стала. Так с той поры Гумешки на убыль и пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что это Хозяйка огневалась за столбы-то, слышь-ко, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему.

Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует. Жить бы ровно да радоваться, а он невеселый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял.

Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушел как-то, да и с концом. Вот его нет, вот его нет... Куда девался?

Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышь-ко, на руднике у высокого камня мертвый лежит, ровно улыбается, и ружьишечко у него тут же в сторонке валяется, не стрелено из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали — она на камень, только ее и видели. А как покойника домой привезли да обмывать стали — глядят: у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие. Полнехонька горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит:

— Да ведь это медный изумруд! Редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?

Настасья — жена-то его — объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был. Большую шкатулку, малахитовую. Много в ей добренького, а таких камешков нету. Не видывала.

Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке. Ну, руда и руда, бурая, с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что у Степана слезы Хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышь-ко, никому, тайно от своих сохранял, с ними и смерть принял. А?

Вот она, значит, какая Медной горы Хозяйка!

Худому с ней встретиться — горе, и доброму — радости мало.

1936[1]

---

[1] Сказы датируются по первой публикации.

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА



У Настасьи, Степановой-то вдовы, шкатулка малахитова осталась. Со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и протча по женскому обряду. Сама Хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался.

Настасья в сиротстве росла, не привыкла к экому-то богатству, да и нешибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надевывала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо... Ровно как раз впору, не жмет, не скатывается, а пойдет в церкву или в гости куда — замается. Как закованный палец-от, в конце нали* посинеет. Серьги навесит — хуже того. Уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять — не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила. Буски в шесть или семь рядов только раз и примерила. Как лед кругом шеи-то и не согреваются нисколько. На люди те буски вовсе не показывала. Стыдно было.

— Ишь, скажут, какая царица в Полевой выискалась!

Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал:

— Убери-ко куда от греха подальше.

Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и протча про запас держат.

Как Степан умер да камешки у него в мертвой руке оказались, Настасье и причтелось* ту шкатулку чужим людям показать. А тот знающий, который про Степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул:

— Ты, гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк. Больших тысяч она стоит.

Он, этот человек-от, ученой был, тоже из вольных. Ране-то в щегарях* ходил, да его отстранили: ослабу-де народу дает. Ну, и винцом не брезговал. Тоже добра кабацка затычка был, не тем будь помянут, покойна головушка. А так во всем правильный. Прошенье напи-

сать, пробу смыть, знаки оглядеть — все по совести делал, не как иные протчие, абы на полштофа сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесет стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил. Около народа питался.

Настасья от мужа слыхала, что этот щегарь правильный и в делах смышленый, даром что к винишку пристрастье поимел. Ну, и послушалась его.

— Ладно,— говорит,— поберегу на черный день.— И поставила шкатулку на старо место.

Схоронили Степана, сорочины отправили честь честью. Настасья — баба в соку да с достатком, стали к ней присватываться. А она, женщина умная, говорит всем одно:

— Хоть золотой второй, а все робятам вотчим.

Ну, отстали по времени.

Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный*, лошадь, корова, обзаведенье полное. Настасья баба работящая, робятишки пословные*, не охтимнеченьки* живут. Год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели все-таки. Где же одной женщине с малолетками хозяйство управить! Тоже ведь и копейку добыть где-то надо. На соль хоть. Тут родня и давай Настасье в уши напевать:

— Продай шкатулку-то! На что она тебе? Что впусте добру лежать. Все едино и Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие! Только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремьем* не наденешь эко место. А люди деньги бы дали. Разоставок* тебе.

Однем словом, наговаривают. И покупатель, как ворон на кости, налетел. Из купцов все. Кто сто рублей дает, кто двести.

— Робят-де твоих жалеем, по вдовьему положению нисхождение делаем.

Ну, оболванить ладят бабу, да не на ту попали. Настасья хорошо запомнила, что́ ей старый щегарь говорил, не продает за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихово подаренье, мужнина память. А пуще того девчоночка у ней младшенькая слезами улилась, просит:

— Мамонька, не продавай! Мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги.

От Степана, вишь, осталось трое ребятишек-то. Двое парнишечки. Робята как робята, а эта, как говорится, ни в мать, ни в отца. Еще при Степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то что девки-бабы, а и мужики Степану говорили:

— Не иначе эта у тебя, Степан, из кистей выпала*. В кого только зародилась! Сама черненька да бассенька*, а глазки зелененьки. На наших девчонок будто и вовсе не походит.

Степан пошутит, бывало:

— Это не диво, что черненька. Отец-то ведь с малых лет в земле скыркался*. А что глазки зеленые — тоже дивить не приходилось. Мало ли я малахиту барину Турчанинову набил. Вот памятка мне и осталась.

Так эту девчоночку Памяткой и звал. «Ну-ка ты, Памятка моя!» И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького либо зеленого принесет.

Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и всамделе гарусинка из праздничного пояса выпала — далеко ее видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей — Танюшка да Танюшка. Самые завидущие бабешки и те любовались. Ну как — красота! Всякому мило. Одна мать повздыхивала:

— Красота-то красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку.

По Степану шибко эта девчоночка убивалась. Чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку малахитову — пущай-де позабавится. Хоть маленька, а девчоночка,— с малых лет им лестно на себя-то навздевать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво — которую примеряет, та и по ней. Мать-то иное и не знала к чему, а эта все знает. Да еще говорит:

— Мамонька, сколь хорошо тятино-то подаренье! Тепло от него, будто на пригревинке сидишь, да еще кто тебя мягким гладит.

Настасья сама нашивала, помнит, как у нее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает: «Неспроста это. Ой, неспроста!» — да поскорее шкатулку-то опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит:

— Мамонька, дай поиграть тятиным подареньем!

Настасья когда и пристрожит, ну, материнско сердце — пожалеет, достанет шкатулку, только накажет:

— Не изломай чего!

Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или еще куда, Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала. Ну, чашки-ложки перемыть, скатерку стряхнуть, в избесенях веничком подмахнуть, куричешкам корму дать, в печке поглядеть. Справит все поскорее, да и за шкатулку. Из верхних-то сундуков к тому времени один остался, да и тот легонький стал. Танюшка сдвинет его на табу́реточку, достанет шкатулку и перебирает камешки, любуется, на себя примеряет.

Раз к ней и забрался хитник*. То ли он в ограде спозаранку прихоронился, то ли потом незаметно где пролез, только из суседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнамый, а по́ делу видать — кто-то навел его, весь порядок обсказал.

Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камешками. Надела наголовник, серьги навесила. В это время и пых в избу этот хитник. Танюшка оглянулась — на пороге мужик незнакомый, с топором. И топор-то ихний. В сенках, в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мела. Испугалась Танюшка, сидит, как замерла, а мужик сойкнул*, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет-кричит:

— Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп! — а сам глаза трет.

Танюшка видит — неладно с человеком, стала спрашивать:

— Ты как, дяденька, к нам зашел, пошто топор взял?

А тот знай стонет да глаза свои трет. Танюшка его и пожалела — зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной к двери.

— Ой, не подходи! — Так в сенках и сидел и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход — выбежала через окошко и к суседям. Ну, пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким слу-

чаем? Тот промигался маленько, объясняет — проходящий-де, милостинку хотел попросить, да что-то с глазами попритчилось.

— Как солнцем ударило. Думал — вовсе ослепну. От жары, что ли.

Про топор и камешки Танюшка суседям не сказала. Те и думают:

«Пустяшное дело. Может, сама же забыла ворота запереть, вот проходящий и зашел, а тут с ним и случилось что-то. Мало ли бывает».

До Настасьи все-таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что суседям рассказывал. Настасья видит — все в сохранности, вязаться не стала. Ушел тот человек, и суседи тоже.

Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья и поняла, что за шкатулкой приходил, да взять-то ее, видно, не просто. А сама думает:

«Оберегать-то ее все-таки покрепче надо».

Взяла да потихоньку от Танюшки и других робят и зарыла ту шкатулку в голбец*.

Уехали опять все семейные. Танюшка хватилась шкатулки, а ее быть бывало. Горько это показалось Танюшке, а тут вдруг теплом ее опахнуло. Что за штука? Откуда? Оглянулась, а из-под полу свет. Танюшка испугалась — не пожар ли? Заглянула в голбец, там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела — только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте, видит — шкатулка. Открыла, а камни-то ровно еще краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке. Танюшка и в избу не потащила шкатулку. Тут в голбце и наигралась досыта.

Так с той поры и повелось. Мать думает: «Вот хорошо спрятала, никто не знает»,— а дочь, как домовничать, так и урвет часок поиграть дорогим отцовским подареньем. Насчет продажи Настасья и говорить родне не давала.

— По миру впору придет — тогда продам.

Хоть круто ей приходилось,— а укрепилась. Так еще сколько-то годов перемогались, дальше на поправу пошло. Старшие робята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка не сложа руки сидела. Она, слышь-ко, научилась шелками да бисером шить. И так научилась, что само-

лучшие барские мастерицы руками хлопали — откуда узоры берет, где шелка достает?

А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина. Небольшого росту, чернявая, в Настасьиных уж годах, а востроглазая, и, по всему видать, шмыгало такое, что только держись. На спине котомочка холщовая, в руке черемуховый бадожок, вроде как странница. Просится у Настасьи:

— Нельзя ли, хозяюшка, у тебя денек-другой отдохнуть? Ноженьки не несут, а идти не близко.

Настасья сперва подумала, не подослана ли опять за шкатулкой, потом все-таки пустила.

— Места не жалко. Не пролежишь поди и с собой не унесешь. Только вот кусок-то у нас сиротский. Утром — лучок с кваском, вечером квасок с лучком, вся и перемена. Отощать не боишься, так милости просим, живи сколь надо.

А странница уж бадожок свой поставила, котомку на припечье положила и обуточки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала.

«Ишь неочесливая!* Приветить ее не успели, а она на-ко — обутки сняла и котомку развязала».

Женщина и верно котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку.

— Иди-ко, дитятко, погляди на мое рукоделье. Коли поглянется, и тебя выучу... Видать, цепкий глазок-от на это будет!

Танюшка подошла, а женщина и подает ей ширинку маленькую, концы шелком шиты. И такой-то, слышь-ко жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало.

Танюшка так глазами и впилась, а женщина посмеивается.

— Поглянулось, знать, доченька, мое рукодельице? Хочешь — выучу?

— Хочу,— говорит.

Настасья так и взъелась:

— И думать забудь! Соли купить не на что, а ты придумала шелками шить! Припасы-то поди-ко денег стоят.

— Про то не беспокойся, хозяюшка,— говорит странница.— Будет понятие у доченьки — будут и припасы. За твою хлеб-соль оставлю ей — надолго хватит. А дальше

сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят. Не даром работу отдаем. Кусок имеем.

Тут Настасье уступить пришлось.

— Коли припасов уделишь, так о чем не поучиться. Пущай поучится, сколь понятия хватит. Спасибо тебе скажу.

Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорехонько Танюшка все переняла, будто раньше которое знала. Да вот еще что. Танюшка не то что к чужим, к своим неласковая была, а к этой женщине так и льнет, так и льнет. Настасья скоса запоглядывала:

«Нашла себе новую родню. К матери не подойдет, а к бродяжке прилипла!»

А та еще ровно дразнит, все Танюшку дитятком да доченькой зовет, а крещеное имя ни разочку не помянула. Танюшка видит, что мать в обиде, а не может себя сдержать. До того, слышь-ко, вверилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то!

— Есть,— говорит,— у нас дорогая тятина памятка — шкатулка малахитова. Вот где каменья! Век бы на них глядела.

— Мне покажешь, доченька? — спрашивает женщина.

Танюшка даже не подумала, что это неладно.

— Покажу,— говорит,— когда дома никого из семейных не будет.

Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка шкатулку, показывает, а женщина поглядела маленько, да и говорит:

— Надень-ко на себя — виднее будет.

Ну, Танюшка,— не того слова*,— стала надевать, а та знай похваливает:

— Ладно, доченька, ладно! Капельку только поправить надо.

Подошла поближе, да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет — тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, иное — нет. После этого женщина и говорит:

— Встань-ко, доченька, пряменько.

Танюшка встала, а женщина и давай ее потихоньку гладить по волосам, по спине. Всю огладила, а сама наставляет:

— Заставлю тебя повернуться, так ты, смотри, на

меня не оглядывайся. Вперед гляди, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся!

Повернулась Танюшка — перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. Не то церква, не то что. Потолки высоченные на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошел. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы, как ночь, а глаза зеленые. И вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней из зеленого бархату с переливом. И так это платье сшито, как вот у цариц на картинках. На чем только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели на людях такое надеть, а эта зеленоглазая стоит себе спокойнешенько, будто так и надо. Народу в том помещенье полно. По-господски одеты, и все в золоте да заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзади нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голоруки, гологруды, каменьями увешаны. Только где им до зеленоглазой! Ни одна в подметки не годится.

В ряд с зеленоглазой какой-то белобрысенький. Глаза враскос, уши пенечками, как есть заяц. А одежа на нем — уму помраченье. Этому золота-то мало показалось, так он, слышь-ко, на обую́* камни насадил. Да такие сильные, что, может, в десять лет один такой найдут. Сразу видать — заводчик это. Лопочет тот заяц зеленоглазой-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет.

Танюшка глядит на эту барыню, дивится на нее и только тут заметила:

— Ведь каменья-то на ней тятины! — Сойкала Танюшка, и ничего не стало.

А женщина та посмеивается:

— Не доглядела, доченька! Не тужи, по времени доглядишь.

Танюшка, конечно, доспрашивается — где это такое помещенье?

— А это,— говорит,— царский дворец. Та самая палата, коя здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал-то.

— А это кто в тятиных уборах и какой это с ней заяц?

— Ну, этого не скажу, сама скоро узнаешь.

В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махонькую. То ли она из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана.

Подает ее Танюшке, да и говорит:

— Прими-ко, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе либо трудный случай подойдет, погляди на эту пуговку. Тут тебе ответ и будет.

Сказала так-то и ушла. Только ее и видели.

С той поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни о Настасьины окошки глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, неласковая она, невеселая, да и за крепостного где же вольная пойдет. Кому охота петлю надевать?

В барском доме тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то ее. Подсылать к ней стали. Лакея помоложе да поладнее оденут по-господски, часы с цепкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на экого молодца. Тогда ее обратать* можно. Толку все-таки не выходило. Скажет Танюшка что по делу, а другие разговоры того лакея безо внимания. Надоест, так еще надсмешку подстроит:

— Ступай-ко, любезный, ступай! Ждут ведь. Боятся поди, как бы у тебя часы потом не изошли и цепка не помедела. Вишь, без привычки-то как ты их мозолишь.

Ну, лакею или другому барскому служке эки слова, как собаке кипяток.

Бежит как ошпаренный, фырчит про себя:

— Разве это девка? Статуй каменный, зеленоглазый! Такую ли найдем!

Фырчит так-то, а самого уж захлестнуло. Которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. Как привороженного к тому месту тянет — хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек проторили, а Танюшка и не глядит.

Суседки уж стали Настасью корить:

— Что это у тебя Татьяна шибко высоко себя повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть не хочет. Царевича-королевича ждет аль в Христовы невесты ладится?

Настасья на эти покоры только вздыхает:

— Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудреная была, а колдунья эта проходящая вконец ее извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупы стали, не вижу. Налупила бы девку, да, вишь, она у нас старательница. Почитай, ее работой только и живем. Думаю-думаю так-то, и зареву. Ну, тогда она скажет: «Мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю и на игрища не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошком сижу, так работа моя того требует. За что на меня приходишь?* Что я худого сделала?» Вот и ответь ей!

Ну, жить все-таки ладно стали. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе аль в нашем городе, по другим местам про него узнали, заказы посылают и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то заробить. Только тут беда их и пристигла — пожар случился. А ночью дело было. Пригон*, завозня*, лошадь, корова, снасть всяка — все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела-таки. На другой день и говорит:

— Видно, край пришел — придется продать шкатулку.

Сыновья в один голос:

— Продавай, мамонька. Не продешеви только.

Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит — пущай продают. Горько стало Танюшке, а что поделаешь? Все равно уйдет отцова памятка этой зеленоглазой. Вздохнула и говорит:

— Продавать так продавать.— И даже не стала на прощанье те камни глядеть. И то сказать — у суседей приютились, где тут раскладываться.

Придумали так — продать-то, а купцы уж тут как тут. Кто, может, сам и поджог-от подстроил, чтобы шкатулкой завладеть. Тоже ведь народишко-то — ноготок, доцарапается! Видят — робята подросли — больше дают. Пятьсот там, семьсот, один до тысячи дошел. По заводу деньги немалые, можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила все-таки две тысячи. Ходят, значит, к ней, рядятся.

Накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся, сговориться меж собой не могут. Вишь, кусок-от такой — ни одному отступиться неохота. Пока они так-то ходили, в Полевую и приехал новый приказчик.

Когда ведь они — приказчики-то — подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. Душного козла, который при Степане был, старый барин на Крылатовско за вонь отставил. Потом был Жареный Зад. Рабочие его на болванку посадили. Тут заступил Северьян Убойца. Этого опять Хозяйка Медной горы в пусту породу перекинула. Там еще двое ли, трое каких-то были, а потом и приехал этот.

Он, сказывают, из чужестранных земель был, на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно — пороть. Свысока так, с растяжкой — па-роть. О какой недостаче ему заговорят, одно кричит: па-роть! Его Паротей и прозвали.

На деле этот Паротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарну* не гонял. Тамошним охлестышам* вовсе и дела не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пароте.

Тут, вишь, штука-то в чем. Старый барин к той поре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине ли, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ей большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко все-таки. Что новые сватовья скажут? Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину — сынову-то полюбовницу — за музыканта. У барина же этот музыкант служил. Робятишек на музыках обучал и так разговору чужестранному, как ведется по ихнему положению.

— Чем,— говорит,— тебе так-то жить на худой славе, выходи-ко ты замуж. Приданым тебя оделю, а мужа приказчиком в Полевую пошлю. Там дело направлено, пущай только построже народ держит. Хватит поди на это толку, что хоть и музыкант. А ты с ним лучше лучшего проживешь в Полевой-то. Первый человек, можно сказать, будешь. Почет тебе, уважение от всякого. Чем плохо?

Бабочка сговорная оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела.

— Давно,— говорит,— об этом мечтанье имела, да сказать не насмелилась.

Ну, музыкант, конечно, сперва уперся:

— Не желаю,— шибко про нее худа слава, потаскуха вроде.

Только барин — старичонко хитрой. Недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта. Припугнул чем, али улестил, либо подпоил — ихнее дело, только вскорости свадьбу справили, и молодые поехали в Полевую. Так вот Паротя и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так — что зря говорить — человек не вредный. Потом, как Полторы Хари вместо его заступил — из своих заводских, так жалели даже этого Паротю.

Приехал с женой Паротя как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Паротина баба тоже видная была. Белая да румяная — однем словом, полюбовница. Небось худу-то бы не взял барин. Тоже поди выбирал! Вот эта Паротина жена и прослышала — шкатулку продают. «Дай-ко, думает, посмотрю, может, всамделе стоящее что». Живехонько срядилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские завсегда готовы!

— Ну-ко,— говорит,— милая, покажи, какие-такие камешки продаешь?

Настасья достала шкатулку, показывает. У Паротиной бабы и глаза забегали. Она, слышь-ко, в Сам-Петербурхе воспитывалась, в заграницах разных с молодым барином бывала, толк в этих нарядах имела. «Что же это, думает, такое? У самой царицы эдаких украшениев нет, а тут на-ко — в Полевой, у погорельцев! Как бы только не сорвалась покупочка».

— Сколько,— спрашивает,— просишь?

Настасья говорит:

— Две бы тысячи охота взять.

— Ну, милая, собирайся! Поедем ко мне со шкатулкой. Там деньги сполна получишь.

Настасья, однако, на это не подалась.

— У нас,— говорит,— такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесешь деньги — шкатулка твоя.

Барыня видит — вон какая женщина,— живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает:

— Ты уж, милая, не продавай шкатулку.

Настасья отвечает:

— Это будь в надежде. От своего слова не отопрусь. До вечера ждать буду, а дальше моя воля.

Уехала Паротина жена, а купцы-то и набежали все разом. Они, вишь, следили. Спрашивают:

— Ну, как?

— Запродала,— отвечает Настасья.

— За сколь?

— За две, как назначила.

— Что ты,— кричат,— ума решилась али что? В чужие руки отдаешь, а своим отказываешь? — И давай-ко цену набавлять.

Ну, Настасья на эту удочку не клюнула.

— Это,— говорит,— вам привышно дело в словах вертеться, а мне не доводилось. Обнадежила женщину, и разговору конец!

Паротина баба крутехонько обернулась. Привезла деньги, передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. Только на порог, а навстречу Танюшка. Она, вишь, куда-то ходила, и вся эта продажа без нее была. Видит — барыня какая-то и со шкатулкой. Уставилась на нее Танюшка — дескать, не та ведь, какую тогда видела. А Паротина жена пуще того воззрилась.

— Что за наваждение? Чья такая? — спрашивает.

— Дочерью люди зовут,— отвечает Настасья.— Самая как есть наследница шкатулки-то, кою ты купила. Не продала бы, кабы не край пришел. С малолетства любила этими уборами играть. Играет да нахваливает — как-де от них тепло да хорошо. Да что об этом говорить! Что с возу пало — то пропало!

— Напрасно, милая, так думаешь,— говорит Паротина баба.— Найду я ме́стичко этим каменьям.— А про себя думает: «Хорошо, что эта зеленоглазая силы своей не чует. Покажись такая в Сам-Петербурхе, царями бы вертела. Надо — мой-то дурачок Турчанинов ее не увидал».

С тем и разошлись.

Паротина жена, как приехала домой, похвасталась:

— Теперь, друг любезный, я не то что тобой, и Турчаниновым не понуждаюсь. Чуть что — до свиданья! Уеду в Сам-Петербурх — либо, того лучше, в заграницу, продам шкатулочку и таких-то мужей, как ты, две дюжины куплю, коли надобность случится.

Похвасталась, а показать на себе новокупку все-таки охота. Ну как — женщина! Подбежала к зеркалу и пер-

вым делом наголовник пристроила.— Ой, ой, что такое! — Терпенья нет — крутит и дерет волосы-то. Еле выпростала. А неймется. Серьги надела — чуть мочки не разорвало. Палец в перстень сунула — заковало, еле с мылом стащила. Муж посмеивается: не таким, видно, носить!

А она думает: «Что за штука? Надо в город ехать, мастеру показать. Подгонит как надо, только бы камни не подменил».

Сказано — сделано. На другой день с утра укатила. На заводской-то тройке ведь недалеко. Узнала, какой самый надежный мастер — и к нему. Мастер старый-престарый, а по своему делу дока. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Барыня рассказала, что знала. Оглядел еще раз мастер шкатулку, а на камни и не взглянул даже.

— Не возьмусь,— говорит,— что хошь давайте. Не здешних это мастеров работа. Нам несподручно с ними тягаться.

Барыня, конечно, не поняла, в чем тут закорючка, фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились: оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят и от работы наотрез отказываются. Барыня тогда на хитрости пошла, говорит, что эту шкатулку из Сам-Петербурха привезла. Там все и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся.

— Знаю,— говорит,— в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет, что хошь делай.

Барыня и тут не поняла всего-то, только то и уразумела — неладно дело, боятся кого-то мастера. Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать.

«Не по этой ли зеленоглазой подгонялись? Вот беда-то!»

Потом опять переводит в уме:

«Да мне-то что! Продам какой ни есть богатой дуре. Пущай мается, а денежки у меня будут!» С этим и уехала в Полевую.

Приехала, а там новость: весточку получили — старый барин приказал долго жить. Хитренько с Паротей-то он устроил, а смерть его перехитрила — взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, и он теперь полным хозя-

ином стал. Через малое время Паротина жена получила писемышко. Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу, а музыканта твоего куда-нибудь законопатим. Паротя про это как-то узнал, шум-крик поднял. Обидно, вишь, ему перед народом-то. Как-никак приказчик, а тут вон что — жену отбирают. Сильно выпивать стал. Со служащими, конечно. Они рады стараться на даровщинку-то. Вот раз пировали. Кто-то из этих запивох и похвастай:

— Выросла-де у нас в заводе красавица, другую такую не скоро сыщешь.

Паротя и спрашивает:

— Чья такая? В котором месте живет?

Ну, ему рассказали и про шкатулку помянули — в этой-де семье ваша жена шкатулку покупала.

Паротя и говорит:

— Поглядеть бы.

А у запивох и заделье* нашлось.

— Хоть сейчас пойдем — освидетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья хоть из вольных, а на заводской земле живут. В случае чего и прижать можно.

Пошли двое ли, трое с этим Паротей. Цепь притащили, давай промер делать, не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу, выходят ли вершки меж столбами. Подыскиваются, однем словом. Потом заходят в избу, а Танюшка как раз одна была. Глянул на нее Паротя и слова потерял. Ну, ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит как дурак, а она сидит — помалкивает, будто ее дело не касается. Потом отошел малость Паротя, стал спрашивать:

— Что поделываете?

Танюшка говорит:

— По заказу шью,— и работу свою показала.

— Мне,— говорит Паротя,— можно заказ сделать?

— Отчего же нет, коли в цене сойдемся.

— Можете,— спрашивает опять Паротя,— мне с себя патрет шелками вышить?

Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазая ей знак подает — бери заказ! — и на себя пальцем указывает. Танюшка и отвечает:

— Свой патрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна в дорогих каменьях, в царицыном платье,

эту вышить могу. Только недешево будет стоить такая работа.

— Об этом,— говорит,— не сумлевайтесь, хоть сто, хоть двести рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была.

— В лице,— отвечает,— сходственность будет, а одежа другая.

Срядились за сто рублей. Танюшка и срок назначила — через месяц. Только Паротя нет-нет и забежит, будто о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Тоже обахмурило его, а Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет два-три слова, и весь разговор. Запивохи-то Паротины подсмеиваться над ним стали:

— Тут-де не отломится. Зря сапоги треплешь!

Ну вот, вышила Танюшка тот патрет. Глядит Паротя — фу ты, боже мой! да ведь это она самая и есть, одежой да каменьями изукрашенная! Подает, конечно, три сотенных билета, только Танюшка два-то не взяла.

— Не привышны,— говорит,— мы подарки-то принимать. Трудами кормимся.

Прибежал Паротя домой, любуется на патрет, а от жены впотай держит. Пировать меньше стал, в заводское дело вникать мало-мало начал.

Весной приехал на заводы молодой барин. В Полевую прикатил. Народ согнали, молебен отслужили, и потом в господском доме тонцы-звонцы* пошли. Народу тоже две бочки вина выкатили — помянуть старого, проздравить нового барина. Затравку, значит, сделали. На это все Турчаниновы мастера были. Как зальешь господскую чарку десятком своих, так и невесть какой праздник покажется, а на поверку выйдет — последние копейки умыл и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском дому опять пировля. Да так и пошло. Поспят сколько да опять за гулянку. Ну, там, на лодках катаются, на лошадях в лес ездят, на музыках бренчат, да мало ли. А Паротя все время пьяной. Нарочно к нему барин самых залихватских питухов поставил — накачивай до отказу! Ну, те и стараются новому барину подслужиться.

Паротя хоть пьяной, а чует, к чему дело клонится. Ему перед гостями неловко. Он и говорит за столом, при всех:

— Это мне безо внимания, что барин Турчанинов хочет у меня жену увезти. Пущай повезет! Мне такую не надо. У меня вот кто есть! — Да и достает из кармана тот

шелковый патрет. Все так и ахнули, а Паротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже въелся глазами-то. Любопытно ему стало.

— Кто такая? — спрашивает.

Паротя знай похохатывает:

— Полон стол золота насыпь — и то не скажу!

Ну, а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку признали. Один перед другим стараются — барину объясняют. Паротина баба руками-ногами:

— Что вы! Что вы! Околесицу этаку городите! Откуда у заводской девки платье такое да еще каменья дорогие? А патрет этот муж из-за границы привез. Еще до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных-то глаз мало ли что сплетет. Себя скоро помнить не будет. Ишь опух весь!

Паротя видит, что жене шибко не мило, он и давай чихвостить:

— Страмина ты, страмина! Что ты косоплетки плетешь, барину в глаза песком бросаешь! Какой я тебе патрет показывал? Здесь мне его шили. Та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчет платья — лгать не буду — не знаю. Платье какое хошь надеть можно. А камни у них были. Теперь у тебя в шкапу заперты. Сама же их купила за две тысячи, да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасско седло. Весь завод про покупку-то знает!

Барин, как услышал про камни, так сейчас же:

— Ну-ко, покажи!

Он, слышь-ко, малоумненький был, мотоватый. Однем словом, наследник. К камням-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем,— как говорится, ни росту, ни голосу,— так хоть каменьями. Где ни прослышит про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камнях знал, даром что не шибко умный.

Паротина баба видит — делать нечего,— принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу:

— Сколько?

Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядиться. На половине сошлись, и заемную бумагу барин подписал: не было, вишь, денег-то с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол, да и говорит:

— Позовите-ка эту девку, про которую разговор.

Сбегали за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла,—

думала, заказ какой большой. Приходит в комнату, а там народу полно́ и посредине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка — отцово подаренье. Танюшка сразу признала барина и спрашивает:

— Зачем звали?

Барин и слова сказать не может. Уставился на нее, да и все. Потом все-таки нашел разговор:

— Ваши камни?

— Были наши, теперь вон ихние,— и показала на Паротину жену.

— Мои теперь,— похвалился барин.

— Это дело ваше.

— А хошь подарю обратно?

— Отдаривать нечем.

— Ну, а примерить на себя ты их можешь? Взглянуть мне охота, как эти камни на человеке придутся.

— Это,— отвечает Танюшка,— можно.

Взяла шкатулку, разобрала уборы,— привычно дело, и живо их к месту пристроила. Барин глядит и только ахает. Ах да ах, больше и речей нет. Танюшка постояла в уборе-то и спрашивает:

— Поглядели? Будет? Мне ведь не от простой поры тут стоять — работа есть.

Барин тут при всех и говорит:

— Выходи за меня замуж. Согласна?

Танюшка только усмехнулась:

— Не под стать бы ровно барину такое говорить.— Сняла уборы и ушла. Только барин не отстает. На другой день свататься приехал. Просит-молит Настасью-то: отдай за меня дочь.

Настасья говорит:

— Я с нее воли не снимаю, как она хочет, а по-моему — будто не подходит.

Танюшка слушала-слушала, да и молвит:

— Вот что, не то... Слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь — тогда выйду за тебя замуж.

Барин, конечно, на все согласен. Сейчас же в Сам-Петербурх стал собираться и Танюшку с собой зовет — лошадей, говорит, тебе предоставлю. А Танюшка отвечает:

— По нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит, а мы ведь еще никто. Потом

уж об этом говорить будем, как ты свое обещанье выполнишь.

— Когда же,— спрашивает,— ты в Сам-Петербурхе будешь?

— К покрову,— говорит,— непременно буду. Об этом не сумлевайся, а пока уезжай отсюда.

Барин уехал, Паротину жену, конечно, не взял, не глядит даже на нее. Как домой в Сам-Петербурх-от приехал, давай по всему городу славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К осеням-то барин квартиру Танюшке приготовил, платьев всяких навез, обую, а она весточку и прислала,— тут она, живет у такой-то вдовы на самой окраине.

Барин, конечно, сейчас же туда:

— Что вы! Мысленное ли дело тут проживать? Квартерка приготовлена, первый сорт!

А Танюшка отвечает:

— Мне и тут хорошо.

Слух про каменья да турчаниновску невесту и до царицы дошел. Она и говорит:

— Пущай-ко Турчанинов покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут.

Барин к Танюшке,— дескать, приготовиться надо. Наряд такой сшить, чтобы во дворец можно, камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает:

— О наряде не твоя печаль, а камни возьму на подержанье. Да смотри не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка, во дворце-то.

Барин думает,— откуда у ней лошади? где платье дворцовское? — а спрашивать все-таки не насмелился.

Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках да бархатах. Турчанинов-барин спозаранку у крыльца вертится — невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на нее поглядеть,— тут же остановились. А Танюшка надела каменья, подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идет себе потихонечку. Ну, народ — откуда такая? — валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пущают — не дозволено, говорят, заводским-то. Турчанинов-барин издаля Танюшку завидел, только ему пе-

ред своими-то стыдно, что его невеста пешком да еще в экой шубейке, он взял да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку, лакеи глядят — платье-то! У царицы такого нет! — сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек да шубейку, все кругом сахнули:

— Чья такая? Каких земель царица?

А барин Турчанинов тут как тут.

— Моя невеста,— говорит.

Танюшка эдак строго на него поглядела.

— Это еще вперед поглядим! Пошто ты меня обманул — у крылечка не дождался?

Барин туда-сюда,— оплошка-де вышла. Извини, пожалуйста.

Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Танюшка — не то место. Еще строже спросила Турчанинова-барина:

— Это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы обделана! — И пошла по дворцу-то, как дома. А сенаторы, генералы и протчи за ней.

— Что, дескать, такое? Видно, туда велено.

Народу набралось полным-полно, и все глаз с Танюшки не сводят, а она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турчанинов, конечно, тут же. Лопочет ей, что ведь неладно, не в этом помещенье царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спокойнешенько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет.

Царица вышла в комнату-то, куда назначено. Глядит — никого нет. Царицыны наушницы и доводят — турчаниновска невеста всех в малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно,— что за самовольство! Запотопывала ногами-то. Осердилась, значит, маленько. Приходит царица в палату малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка стоит — не шевельнется.

Царица и кричит:

— Ну-ко, показывайте мне эту самовольницу — турчаниновску невесту!

Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину:

— Это еще что придумал! Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман! Видеть тебя больше не хочу! Получи свои камни!

С этим словом прислонилась к стенке малахитовой



и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки.

Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула. Засуетились, поднимать стали. Потом, когда суматоха поулеглась, приятели и говорят Турчанинову:

— Подбери хоть камни-то! Живо разворуют. Не како-нибудь место — дворец! Тут цену знают!

Турчанинов и давай хватать те каменья. Какой схватит, тот у него и свернется в капельку. Ина капля чистая, как вот слеза, ина желтая, а то опять, как кровь, густая. Так ничего и не собрал. Глядит — на полу пуговка валяется. Из бутылочного стекла, на простую грань. Вовсе пустяковая. С горя он и схватил ее. Только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, зеленоглазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменьями изукрашенная, хохочет-заливается:

— Эх ты, полоумный косой заяц! Тебе ли меня взять! Разве ты мне пара?

Барин после этого и последний умишко потерял, а пуговку не бросил. Нет-нет и поглядит в нее, а там все одно: стоит зеленоглазая, хохочет и обидные слова говорит. С горя барин давай-ко пировать, долгов наделал, чуть при нем наши-то заводы с молотка не пошли.

А Паротя, как его отстранили, по кабакам пошел. До ремков пропился, а патрет тот шелковый берег. Куда этот патрет потом девался — никому не известно.

Не поживилась и Паротина жена: поди-ко получи по заемной бумаге, коли все железо и медь заложены!

Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху ни духу. Как не было.

Погоревала, конечно, Настасья, да тоже не от силы. Танюшка-то, вишь, хоть радетельница для семьи была, а все Настасье как чужая.

И то сказать, парни у Настасьи к тому времени выросли. Женились оба. Внучата пошли. Народу в избе густенько стало. Знай поворачивайся — за тем догляди, другому подай... До скуки ли тут!

Холостяжник — тот дольше не забывал. Все под Настасьиными окошками топтался. Поджидали, не появится ли у окошечка Танюшка, да так и не дождались.

Потом, конечно, оженились, а нет-нет и помянут:

— Вот-де какая у нас в заводе девка была! Другой такой в жизни не увидишь.

Да еще после этого случаю заметочка вышла. Сказывали, будто Хозяйка Медной горы двоиться стала: сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.

1938

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК



Не одни мраморски* на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши большее с малахитом вожгались*, как его было довольно, и сорт — выше нет. Вот из этого малахиту и выделывали подходяще. Такие, слышь-ко, штучки, что диву дашься: как ему помогло.

Был в ту пору мастер Прокопьич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был.

Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопьичу парнишек на выучку.

— Пущай-де переймут все до тонкости.

Только Прокопьич,— то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что,— учил шибко худо. Все у него с рывка да с тычка. Насадит парнишке по всей голове шишек, уши чуть не оборвет, да и говорит приказчику:

— Не гож этот... Глаз у него неспособный, рука не несет. Толку не выйдет.

Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопьича.

— Не гож, так не гож... Другого дадим...— И нарядит другого парнишку.

Ребятишки прослышали про эту науку... Спозаранку ревут, как бы к Прокопьичу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного дитенка на зряшную муку отда-

вать,— выгораживать стали свои-то, кто как мог. И то сказать, нездорово это мастерство, с малахитом-то. Отрава чистая. Вот и оберегаются люди.

Приказчик все-таки помнит баринов наказ — ставит Прокопьичу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку, да и сдаст обратно приказчику.

— Не гож этот...

Приказчик взъедаться стал:

— До какой поры это будет? Не гож да не гож, когда гож будет? Учи этого...

Прокопьич, знай, свое:

— Мне что... Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет...

— Какого тебе еще?

— Мне хоть и вовсе не ставь,— об этом не скучаю...

Так вот и перебрали приказчик с Прокопьичем много ребятишек, а толк один: на голове шишки, а в голове — как бы убежать. Нарочно которые портили, чтобы Прокопьич их прогнал.

Вот так-то и дошло дело до Данилки Недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечко. Годов поди тогда двенадцати, а то и боле. На ногах высоконький, а худой-расхудой, в чем душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосенки кудрявеньки, глазенки голубеньки. Его и взяли сперва в казачки при господском доме: табакерку, платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах вьюнами вьются. Чуть что — на вытяжку: что прикажете? А этот Данилко забьется куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшенье, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведет. Били, конечно, поначалу-то, потом рукой махнули:

— Блаженный какой-то! Тихоход! Из такого хорошего слуги не выйдет.

На заводскую работу либо в гору все-таки не отдали — шибко жидко место, на неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилко не вовсе гож пришелся. Парнишечко ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку, а коровы-то — вон где! Старый пастух ласковый попался, жалел сироту, и тот временем ругался:

— Что только из тебя, Данилко, выйдет? Погубишь ты себя, да и мою старую спину под бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть думка-то у тебя?

— Я и сам, дедко, не знаю... Так... ни о чем... Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает, а листок широконький... По краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-презеленая, ровно ее сейчас выкрасили... А букашка-то и ползет...

— Ну, не дурак ли ты, Данилко? Твое ли дело букашек разбирать? Ползет она — и ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу!

Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился — куда старику! Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят:

— Сыграй, Данилушко, песенку.

Он и начнет наигрывать. И песни все незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются, а хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто пониточек* починит, кто холста на онучи отрежет, рубашонку новую сошьет. Про кусок и разговору нет,— каждая норовит дать побольше да послаще. Старику пастуху тоже Данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнет Данилушко наигрывать и все забудет, ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда.

Данилушко, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровенок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят — той нет, другой нет. Искать кинулись, да где тебе. Пасли около Ельничной... Самое тут волчье место, глухое... Одну только коровенку и нашли. Пригнали стадо домой... Так и так — обсказали. Ну, из завода тоже побежали-поехали на розыски, да не нашли.

Расправа тогда, известно, какая была. За всякую вину спину кажи. На грех еще одна-то корова из приказчичьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика, потом и до Данилушки дошло, а он худенький да тощенький. Господский палач оговорился даже.

— Экой-то,— говорит,— с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит.

Ударил все ж таки — не пожалел, а Данилушко молчит. Палач его вдругорядь — молчит, втретьи — молчит. Палач тут и расстервенился, давай полысать со всего плеча, а сам кричит:

— Я тебя, молчуна, доведу... Дашь голос... Дашь!

Данилушко дрожит весь, слезы каплют, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечка от него не слыхали. Приказчик,— он тут же, конечно, был,— удивился:

— Какой еще терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется.

Отлежался-таки Данилушко. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая. Заместо лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала: которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты... Ну, все как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав да корешков настойки готовила, отвары варила да с мазями мешала.

Хорошо Данилушке у этой бабушки Вихорихи пожилось. Старушка, слышь-ко, ласковая да словоохотливая, а трав, да корешков, да цветков всяких у ней насушено да навешено по всей избе. Данилушко к травам-то любопытен — как эту зовут? где растет? какой цветок? Старушка ему и рассказывает.

Раз Данилушко и спрашивает:

— Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?

— Хвастаться,— говорит,— не буду, а все будто знаю, какие открытые-то.

— А разве,— спрашивает,— еще не открытые бывают?

— Есть,— отвечает,— и такие. Папору вот слыхал? Она будто цветет на Ивано̀в день. Тот цветок колдовской. Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв-траве цветок — бегучий огонек. Поймай его — и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. А то еще каменный цветок есть. В малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник* полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит.

— Чем, бабушка, несчастный?

— А это, дитенок, я и сама не знаю. Так мне сказывали.

Данилушко у Вихорихи, может, и подольше бы пожил, да приказчиковы вестовщики углядели, что парнишко мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал, да и говорит:

— Иди-ко теперь к Прокопьичу — малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа.

Ну, что сделаешь? Пошел Данилушко, а самого еще ветром качает.

Прокопьич поглядел на него, да и говорит:

— Еще такого недоставало. Здоровым парнишкам здешняя учеба не по силе, а с такого что взыщешь — еле живой стоит.

Пошел Прокопьич к приказчику:

— Не надо такого. Еще ненароком убьешь — отвечать придется.

Только приказчик — куда тебе, слушать не стал:

— Дано тебе — учи, не рассуждай! Он — этот парнишка — крепкий. Не гляди, что жиденький.

— Ну, дело ваше,— говорит Прокопьич,— было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули.

— Тянуть некому. Одинокий этот парнишка, что хочешь с ним делай,— отвечает приказчик.

Пришел Прокопьич домой, а Данилушко около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан — кромку отбить. Вот Данилушко на это место уставился и головенкой покачивает. Прокопьичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось:

— Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь?

Данилушко и отвечает:

— На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут.

Прокопьич закричал, конечно:

— Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь?

— То и понимаю, что эту штуку испортили,— отвечает Данилушко.

— Кто испортил? а? Это ты, сопляк, мне — первому мастеру!.. Да я тебе такую порчу покажу... жив не будешь!

Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопьич-то, вишь, сам над этой досочкой думал — с которой стороны кромку срезать. Данилушко своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопьич и говорит вовсе уж добром:

— Ну-ко, ты, мастер явленый, покажи, как, по-твоему, сделать?

Данилушко и стал показывать да рассказывать:

— Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше — пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить, только бы сверху плетешок малый оставить.

Прокопьич знай покрикивает:

— Ну-ну... Как же! Много ты понимаешь. Накопил — не просыпь! — А про себя думает: «Верно парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок — он и ноги протянет».

Подумал так, да и спрашивает:

— Ты хоть чей, экий ученый?

Данилушко и рассказал про себя.

Дескать, сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозвание отцовское — про то не знаю. Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал.

Прокопьич пожалел:

— Не сладко, гляжу, тебе, парень, житьишко-то задалось, а тут еще ко мне попал. У нас мастерство строгое.

Потом будто рассердился, заворчал:

— Ну, хватит, хватит! Вишь разговорчивый какой! Языком-то — не руками — всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы! Ученичок тоже! Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора.

Прокопьич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей снаходу у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечерами Прокопьич сам управлял, что ему надо.

Поели, Прокопьич и говорит:

— Ложись вон тут на скамеечке!

Данилушко разулся, котомку свою под голову, понитком закрылся, поежился маленько,— вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени,— все-таки вскорости уснул. Прокопьич тоже лег, а уснуть не мог: все у него

разговор о малахитовом узоре из головы нейдет. Ворочался-ворочался, встал, зажег свечку, да и к станку — давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую... прибавит поле, убавит. Так поставит, другой стороной повернет, и все выходит, что парнишка лучше узор понял.

— Вот тебе и Недокормышек! — дивится Прокопьич.— Еще ничем-ничего, а старому мастеру указал. Ну и глазок! Ну и глазок!

Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл:

— Спи-ко, глазастый!

А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом-то — тепло ему стало,— и давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопьича своих ребят не было, этот Данилушко и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушко знай посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопьича забота — как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был.

— С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться. Пыль, отрава,— живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет.

На другой день и говорит Данилушке:

— Ты спервоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой у меня порядок заведен. Понял? Для первого разу сходи за калиной. Ее иньями прихватило,— в самый раз она теперь на пироги. Да, гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберешь — то и ладно. Хлеба возьми полишку,— естся в лесу-то,— да еще к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла да молока в туесочек* плеснула. Понял?

На другой день опять говорит:

— Поймай-ко мне щегленка поголосистее да чечетку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру были. Понял?

Когда Данилушко поймал и принес, Прокопьич говорит:

— Ладно, да не вовсе. Лови других.

Так и пошло. На каждый день Прокопьич Данилушке работу дает, а все забава. Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить — пособишь-де. Ну, а какая

подмога! Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом пешком идет. Промнется так-то, поест дома, да спит покрепче. Шубу ему Прокопьич справил, шапку теплую, рукавицы, пимы* на заказ скатали. Прокопьич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну, и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени.

В хорошем-то житье Данилушко живо поправляться стал и к Прокопьичу тоже прильнул. Ну, как! — понял Прокопьичеву заботу, в первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только и к мастерству Данилушко присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То, другое Прокопьичу расскажет, да и спрашивает — это что да это как? Прокопьич объяснит, на деле покажет. Данилушко примечает. Когда и сам примется: «Ну-ко, я...» Прокопьич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше.

Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих-то вестовщиков:

— Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу... По будням с удочкой балуется, а уж не маленький... Кто-то его от работы прячет...

Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит.

— Ну-ко,— говорит,— тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь.

Привели Данилушку. Приказчик спрашивает:

— Ты чей?

Данилушко и отвечает:

— В ученье, дескать, у мастера по малахитному делу.

Приказчик тогда хвать его за ухо:

— Так-то ты, стервец, учишься! — Да за ухо и повел к Прокопьичу.

Тот видит — неладно дело, давай выгораживать Данилушку:

— Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить.

Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушко

вовсе другой стал: поправился, рубашонка на нем добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнешки. Вот и давай проверку Данилушке делать:

— Ну-ко, покажи, чему тебя мастер выучил?

Данилушко запончик надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит — у него на все ответ готов. Как околтать* камень, как распилить, фасочку снять*, чем когда склеить, как полер навести*, как на медь присадить, как на дерево. Однем словом, все как есть.

Пытал-пытал приказчик, да и говорит Прокопьичу:

— Этот, видно, гож тебе пришелся?

— Не жалуюсь,— отвечает Прокопьич.

— То-то, не жалуешься, а баловство разводишь! Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой! Смотри! Таких тебе свежих окуньков отпущу — до смерти не забудешь, да и парнишке невесело станет.

Погрозился так-то, ушел, а Прокопьич дивуется:

— Когда хоть ты, Данилушко, все это понял? Ровно я тебя еще и вовсе не учил.

— Сам же,— говорит Данилушко,— показывал да рассказывал, а я примечал.

У Прокопьича даже слезы закапали,— до того ему это по сердцу пришлось.

— Сыночек,— говорит,— милый, Данилушко... Что еще знаю, все тебе открою... Не потаю...

Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки, какие женщины носят, шкатулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники да украшения разные. Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь — малахитчиков — дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит! Так Данилушко и вырос за этой работой.

А как выточил зарукавье*-змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал:

«Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу — Данилко Недокормыш. Работает хорошо, только по молодости еще тихо. Прикажете на уроках его оставить али, как и Прокопьича, на оброк отпустить?»

Работал Данилушко вовсе не тихо, а на диво ловко да

скоро. Это уж Прокопьич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять ден, а Прокопьич пойдет, да и говорит:

— Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится — только камень без пользы изведет.

Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит. Данилушко и работал без натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самую малость, а все-таки разумел грамоте. Прокопьич ему в этом тоже сноровлял*. Когда и сам наладится приказчиковы уроки за Данилушку делать, только Данилушко этого не допускал:

— Что ты! Что ты, дяденька! Твое ли дело за меня у станка сидеть! Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться* стал, а мне что делается?

Данилушко и впрямь к той поре выправился. Хоть по старинке его Недокормышем звали, а он вон какой! Высокий да румяный, кудрявый да веселый. Однем словом, сухота девичья. Прокопьич уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушко, знай, головой потряхивает:

— Не уйдет от нас! Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет.

Барин на приказчиково известие отписал:

«Пусть тот Прокопьичев выученик Данилко сделает еще точеную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу — на оброк отпустить али на уроках держать. Только ты гляди, чтоб Прокопьич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь — с тебя взыск будет».

Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку, да и говорит:

— Тут, у меня, работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо.

Прокопьич узнал, запечалился: как так? что за штука? Пошел к приказчику, да разве он скажет... Закричал только: «Не твое дело!»

Ну, вот пошел Данилушко работать на ново место, а Прокопьич ему наказывает:

— Ты гляди не торопись, Данилушко! Не оказывай себя.

Данилушко сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай не делай, а срок отбывай — сиди у приказчика с утра до

ночи. Ну, Данилушко от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит:

— Еще такую же делай!

Данилушко сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик и говорит:

— Теперь не увернешься! Поймал я вас с Прокопьичем. Барин тебе, по моему письму, срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше, а тому старому псу покажу, как потворствовать! Другим закажет!

Так об этом и барину написал и чаши все три предоставил. Только барин,— то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердит был,— все как есть наоборот повернул.

Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопьича брать — может-де вдвоем скорее придумают что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Однем словом, придумано. А на чертеже барин подписал: «Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была».

Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопьичу и чертеж отдал.

Повеселели Данилушко с Прокопьичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушко вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил,— пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватает — хорошо идет дело. Одно ему не по нраву — трудности много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопьичу, а он только удивился:

— Тебе-то что? Придумали — значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они — толком и не знаю.

Пробовал с приказчиком поговорить, так куда тебе. Ногами затопал, руками замахал:

— Ты очумел? За чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал!

Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал,— не выдумают ли вдвоем чего новенького,— и говорит:

— Ты вот что... делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь — твое дело. Мешать не стану. Камня у нас, поди-ко, хватит. Какой надо — такой и дам.

Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано — чужое охаять мудрости немного надо, а свое придумать — не одну ночку с боку на бок повертишься. Вот Данилушко сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый. Прокопьич заметил, спрашивает:

— Ты, Данилушко, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь.

— И то,— говорит Данилушко,— в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо.

С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Тра́вы все в цвету. Данилушко остановится где на покосе либо на полянке в лесу и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что. Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку — не потерял ли чего? Он улыбнется этак невесело, да и скажет:

— Потерять не потерял, а найти не могу.

Ну, которые и запоговаривали:

— Неладно с парнем.

А он придет домой и сразу к станку, да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше из объеди*: черемицу да омег, дурман да багульник, да резуны всякие. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопьич вовсе забеспокоился, а Данилушко и говорит:

— Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел.

Прокопьич давай отговаривать:

— На что она тебе далась? Сыты ведь, чего еще? Пущай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не

задевали. Придумают какой узор — сделаем, а навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать — только и всего.

Ну, Данилушко на своем стоит.

— Не для барина,— говорит,— стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди-ко, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим да режем, да полер наводим, и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желание так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать.

По времени отошел Данилушко, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу. Работает, а сам посмеивается:

— Лента каменная с дырками, каемочка резная...

Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопьичу сказал:

— По дурман-цветку свою чашу делать буду.

Прокопьич отговаривать принялся. Данилушко сперва и слушать не хотел, потом, дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопьичу:

— Ну, ладно. Сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай... Не могу ее из головы выбросить.

Прокопьич отвечает:

— Ладно, мешать на стану,— а сам думает: «Уходится парень, забудет. Женить его надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется».

Занялся Данилушко чашей. Работы в ней много — в один год не укладешь. Работает усердно, про дурман-цветок не поминает. Прокопьич и стал про женитьбу заговаривать:

— Вот хоть бы Катя Летемина — чем не невеста? Хорошая девушка... Похаять нечем.

Это Прокопьич-то от ума говорил. Он, вишь, давно заприметил, что Данилушко на эту девушку сильно поглядывал. Ну, и она не отворачивалась. Вот Прокопьич будто ненароком и заводил разговор. А Данилушко свое твердит:

— Погоди! Вот с чашкой управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди — молотком стукну, а он про женитьбу! Уговорились мы с Катей. Подождет она меня.

Ну, сделал Данилушко чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя — невеста-то — с ро-

дителями пришла, еще которые... из мастеров же малахитных больше. Катя дивится на чашу.

— Как,— говорит,— только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не обломил! До чего все гладко да чисто обточено!

Мастера тоже одобряют:

— В аккурат-де по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь — пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться.

Данилушко слушал-слушал, да и говорит:

— То и горе, что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а красота где? Вон цветок... самый что ни есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как вон Катенька, подивится, какой-де у мастера глаз да рука, как у него терпенья хватило нигде камень не обломить.

— А где оплошал,— смеются мастера,— там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдешь.

— Вот-вот... А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень! Понимаете, первый!

Горячиться стал. Выпил, видно, маленько.

Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопьич не раз говорил:

— Камень — камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать.

Только был тут старичок один. Он еще Прокопьича и тех — других-то мастеров — учил! Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старичоночко, а тоже этот разговор понял, да и говорит Данилушке:

— Ты, милый сын, по этой половице не ходи! Из головы выбрось! А то попадешь к Хозяйке в горные мастера...

— Какие мастера, дедушко?

— А такие... в горе живут, никто их не видит... Что Хозяйке понадобится, то они сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа! От нашей, от здешней, на отличку.

Всем любопытно стало. Спрашивают,— какую поделку видел.

— Да змейку,— говорит,— ту же, какую вы на зарукавье точите.

— Ну, и что? Какая она?

— От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает — не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто не выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик черненький, глазки... Того и гляди — клюнет. Им ведь что! Они цветок каменный видали, красоту поняли.

Данилушко, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал:

— Не знаю, милый сын. Слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет.

Данилушко на это и говорит:

— Я бы поглядел.

Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась:

— Что ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе белый свет наскучил? — да в слезы.

Прокопьич и другие мастера сметили дело, давай старого мастера на смех подымать:

— Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказываешь. Парня зря с пути сбиваешь.

Старик разгорячился, по столу стукнул:

— Есть такой цветок! Парень правду говорит: камень мы не разумеем. В том цветке красота показана.

Мастера смеются:

— Хлебнул, дедушко, лишка!

А он свое:

— Есть каменный цветок!

Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать да около своего дурман-цветка ходить, про свадьбу и не поминает. Прокопьич уж понуждать стал:

— Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того жди — пересмеивать ее станут. Мало смотниц-то?*

Данилушко одно свое:

— Погоди ты маленько! Вот только придумаю да камень подходящий подберу.

И повадился на медный рудник — на Гумешки-то. Когда в шахту спустится, по забоям обойдет, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его, да и говорит:

— Нет, не тот...

Только это промолвил, кто-то и говорит:

— В другом месте поищи... у Змеиной горки.

Глядит Данилушко — никого нет. Кто бы это? Шутят, что ли... Будто и спрятаться негде. Поогляделся еще, пошел домой, а вслед ему опять:

— Слышишь, Данило-мастер? У Змеиной горки, говорю.

Оглянулся Данилушко — женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало.

«Что,— думает,— за штука? Неуж *сама?* А что, если сходить на Змеиную-то?»

Змеиную горку Данилушко хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали.

Вот на другой день и пошел туда Данилушко. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезано. Глядельце* тут первосортное. Все пласты видно, лучше некуда.

Подошел Данилушко к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень — на руках не унести, и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко эту находку. Все, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется... Ну, все как есть... Обрадовался Данилушко, скорей за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопьичу:

— Гляди-ко, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. Тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это не легко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы ее кончить!

Ну, и принялся Данилушко за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопьич помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку стешит. Работа ходко идет. Низ камня отделал. Как есть, слышь-ко, куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки — все пришлось лучше нельзя. Прокопьич и то говорит — живой цветок-то, хоть рукой пощупать. Ну, как до верху дошел — тут заколодило. Стебелек выточил, боковые листики тонехоньки — как только держатся! Чашку, как у дурман-цветка, а не то... Не живой стал и красоту потерял. Данилушко тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать.

Прокопьич и другие мастера, кои заходили поглядеть, дивятся — чего еще парню надо? Чашка вышла — никто такой не делывал, а ему неладно. Уму́ется* парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят,— поплакивать стала. Это Данилушку и образумило.

— Ладно,— говорит,— больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня.— И давай сам торопить со свадьбой. Ну, а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово. Назначили день. Повеселел Данилушко. Про чашу-то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит — вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушко говорит:

— Погоди маленько, доделка есть.

Время осеннее было. Как раз около Змеиного праздника свадьба пришлась. К слову, кто-то и помянул про это — вот-де скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушко эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло: «Не сходить ли последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего? — и про камень припомнил: — Ведь как положенный был! И голос на руднике-то... про Змеиную же горку говорил».

Вот и пошел Данилушко! Земля тогда уже подмерзать стала, снежок припорашивал. Подошел Данилушко ко крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушко о том не подумал, кто это камень ломал, зашел в выбоину. «Посижу,— думает,— отдохну за ветром. Потеплее тут». Глядит — у одной стены камень-серовик, вроде стула. Данилушко тут и сел, задумался, в землю глядит, и все цветок тот каменный из головы нейдет. «Вот бы поглядеть!» Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит Медной горы Хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушко сразу ее признал. Только и то думает:

«Может, мне это кажется, а на деле никого нет». Сидит — молчит, глядит на то место, где Хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает:

— Ну, что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?

— Не вышла,— отвечает.

— А ты не вешай голову-то! Другое попытай. Камень тебе будет, по твоим мыслям.

— Нет,— отвечает,— не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.

— Показать-то,— говорит,— просто, да потом жалеть будешь.

— Не отпустишь из горы?

— Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются.

— Покажи, сделай милость!

Она еще его уговаривала:

— Может, еще попытаешь сам добиться! — Про Прокопьича тоже помянула: — Он-де тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть.— Про невесту напомнила: — Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь.

— Знаю я,— кричит Данилушко,— а только без цветка мне жизни нет. Покажи!

— Когда так,— говорит,— пойдем, Данило-мастер, в мой сад.

Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит Данилушко, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня... Ну, всякие... Только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются и голк* дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная. Лазоревая, красная... разная... Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет.

И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы, и в каждом сурьмяная* звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют.

— Ну, Данило-мастер, поглядел? — спрашивает Хозяйка.

— Не найдешь,— отвечает Данилушко,— камня, чтобы так-то сделать.

— Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, теперь не могу.— Сказала и рукой махнула. Опять за-

шумело, и Данилушко на том же камне, в ямине-то этой оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень.

Пришел Данилушко домой, а в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушко веселым себя показывал — песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась:

— Что с тобой? Ровно на похоронах ты!

А он и говорит:

— Голову разломило. В глазах черное с зеленым да красным. Света не вижу.

На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом либо через два жили. Вот Катенька и говорит:

— Пойдемте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдем, а по Еланской воротимся.

Про себя думает: «Пообдует Данилушку ветром,— не лучше ли ему станет».

А подружкам что. Рады-радехоньки.

— И то,— кричат,— проводить надо. Шибко он близко живет — провожальную песню ему по-доброму вовсе не певали.

Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на вечеринке был, поотстали маленько. Завели девки эту песню провожальную. А она протяжно да жалобно поется, чисто по покойнику. Катенька видит — вовсе ни к чему это: «И без того Данилушко у меня невеселый, а они еще причитанье петь придумали».

Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за веселые принялись. Смех у них да беготня, а Данилушко идет, голову повесил. Сколь Катенька ни старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с холостяжником стали расходиться — кому куда, а Данилушко уж без обряду невесту свою проводил и домой пошел.

Прокопьич давно спал. Данилушко потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопьича кашлем бить стало. Так и надрывается. Он, вишь, к тем годам вовсе

нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку, как ножом по сердцу, резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопьич прокашлялся, спрашивает:

— Ты что это с чашами-то?

— Да вот гляжу, не пора ли сдавать?

— Давно,— говорит,— пора. Зря только место занимают. Лучше все равно не сделаешь.

Ну, поговорили еще маленько, потом Прокопьич опять уснул. И Данилушко лег, только сна ему нет и нет. Поворочался-поворочался, опять поднялся, зажег огонь, поглядел на чаши, подошел к Прокопьичу. Постоял тут над стариком-то, повздыхал...

Потом взял балодку* да как ахнет по дурман-цветку,— только схрупало. А ту чашу,— по барскому-то чертежу,— не пошевелил! Плюнул только в середку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли.

Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал — Хозяйка взяла его в горные мастера.

На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.

ГОРНЫЙ МАСТЕР



Катя — Данилова-то невеста — незамужницей осталась. Года два либо три прошло, как Данило потерялся,— она и вовсе из невестинской поры вышла. За двадцать-то годов, по-нашему, по-заводскому, перестарок считается. Парни таких редко сватают, вдовцы больше. Ну, а эта Катя, видно, пригожая была, к ней всё женихи лезут, а у ней только и слов:

— Данилу обещалась.

Ее уговаривают:

— Что поделаешь! Обещалась, да не вышла. Теперь об этом и поминать не к чему. Давно человек изгиб.

Катя на своем стоит:

— Данилу обещалась. Может, и придет еще он.

Ей толкуют:

— Нет его в живых. Верное дело.

А она уперлась на своем:

— Никто его мертвым не видал, а для меня он и подавно живой.

Видят — не в себе девка,— отстали. Иные на смех еще подымать стали: прозвали ее мертвяковой* невестой. Ей это прильнуло. Катя Мертвякова да Катя Мертвякова, равно другого прозванья не было.

Тут какой-то мор на людей случился, и у Кати старики-то оба умерли. Родство у нее большое. Три брата женатых да сестер замужних сколько-то. Рассорка промеж ними и вышла — кому на отцовском месте оставаться. Катя видит — бестолковщина пошла, и говорит:

— Пойду-ко я в Данилушкову избу жить. Вовсе Прокопьич старый стал. Хоть за ним похожу.

Братья-сестры уговаривать, конечно:

— Не подходит это, сестра. Прокопьич хоть старый человек, а мало ли что про тебя сказать могут.

— Мне-то,— отвечает,— что? Не я сплетницей стану. Прокопьич поди-ко мне не чужой. Приемный отец моему Данилу. Тятенькой его звать буду.

Так и ушла. Оно и то сказать: семейные не крепко вязались. Про себя думали: лишний из семьи — шуму меньше. А Прокопьич что? Ему по душе пришлось.

— Спасибо,— говорит,— Катенька, что про меня вспомнила.

Вот и стали они поживать. Прокопьич за станком сидит, а Катя по хозяйству бегает — в огороде там, сварить-постряпать и протча. Хозяйство невелико, конечно, на двоих-то... Катя — девушка проворная, долго ли ей!.. Управится и садится за какое рукоделье; сшить-связать, мало ли. Сперва у них гладенько катилось, только Прокопьичу все хуже да хуже. День сидит, два лежит. Изробился, старый стал. Катя и заподумывала, как они дальше-то жить станут.

«Рукодельем женским не прокормишься, а другого ремесла не знаю».

Вот и говорит Прокопьичу:

— Тятенька! Ты бы хоть научил меня чему попроще.

Прокопьичу даже смешно стало.

— Что ты это! Девичье ли дело за малахитом сидеть! Отродясь такого не слыхал.

Ну, она все-таки присматриваться к Прокопьичеву ремеслу стала. Помогала ему где можно. Распилить там, пошлифовать. Прокопьич и стал ей то-другое показывать. Не то чтобы настояще. Бляшку обточить, ручки к вилкам-ножам сделать и протча, что в ходу было. Пустяшно, конечно, дело, копеечно, а все разоставок при случае.

Прокопьич недолго зажился. Тут братья-сестры уж понуждать Катю стали:

— Теперь тебе заневолю надо замуж выходить. Как ты одна жить будешь?

Катя их обрезала:

— Не ваша печаль. Никакого мне вашего жениха не надо. Придет Данилушко. Выучится в горе и придет.

Братья-сестры руками на нее машут:

— В уме ли ты, Катерина? Эдакое и говорить грех! Давно умер человек, а она его ждет! Гляди, еще блазнить* станет.

— Не боюсь,— отвечает,— этого.

Тогда родные спрашивают:

— Чем ты хоть жить-то станешь?

— Об этом,— отвечает,— тоже не заботьтесь. Продержусь одна.

Братья-сестры так поняли, что от Прокопьича деньжонки остались, и опять за свое:

— Вот и вышла дура! Коли деньги есть, мужика беспременно в доме надо. Не ровен час — поохотится кто за деньгами. Свернут тебе башку, как куренку. Только и свету видела.

— Сколько,— отвечает,— на мою долю положено, столько и увижу.

Братья-сестры долго еще шумели. Кто кричит, кто уговаривает, кто плачет, а Катя заколодила свое:

— Продержусь одна. Никакого вашего жениха не надо. Давно у меня есть.

Осердились, конечно, родные:

— В случае, к нам и глаз не показывай!

— Спасибо,— отвечает,— братцы милые, сестрицы любезные! Помнить буду. Сами-то не забудьте — мимо похаживайте!

Смеется, значит. Ну, родня и дверями хлоп.

Осталась Катя одна-одинешенька. Поплакала, конечно, сперва, потом и говорит:

— Врешь! Не поддамся!

Вытерла слезы и по хозяйству занялась. Мыть да скоблить — чистоту наводить. Управилась — и сразу к станку села. Тут тоже свой порядок наводить стала. Что ей не нужно, то подальше, а что постоянно требуется, то под руку. Навела так-то порядок и хотела за работу садиться:

«Попробую сама хоть одну бляшку обточить».

Хватилась, а камня подходящего нет. Обломки Данилушковой дурман-чашки остались, да Катя берегла их. В особом узле они были завязаны. И Прокопьича камня, конечно, много было. Только Прокопьич до смерти на больших работах сидел. Ну, и камень все крупный. Обломышки да кусочки все подобрались — порасходовались на мелкую поделку. Вот Катя и думает:

«Надо, видно, сходить на руднишных отвалах поискать. Не попадет ли подходящий камешок».

От Данилы, да и от Прокопьича она слыхала, что они у Змеиной горки брали. Вот туда и пошла.

На Гумешках, конечно, всегда народ: кто руду разбирает, кто возит. Глядят на Катю-то — куда она с корзинкой пошла. Кате это нелюбо, что на нее зря глаза пялят. Она и не стала на отвалах с этой стороны искать, обошла горку-то. А там еще лес рос. Вот Катя по этому лесу и забралась на самую Змеиную горку, да тут и села. Горько ей стало — Данилушку вспомнила. Сидит на камне, а слезы так и бегут. Людей нет, лес кругом,— она и не сторожится. Так слезы на землю и каплют. Поплакала, глядит — у самой ноги малахит-камень обозначился, только весь в земле сидит. Чем его возьмешь, коли ни кайлы, ни лома? Катя все-таки пошевелила его рукой. Показалось, что камень не крепко сидит. Вот она и давай прутиком каким-то землю отгребать от камня. Отгребла, сколько можно, стала вышатывать. Камень и подался. Как хрупнуло снизу,— ровно сучок обломился. Камешок небольшой, вроде плитки. Толщиной пальца в три, шириной в ладонь, а длиной не больше двух четвертей. Катя даже подивилась.

— Как раз по моим мыслям. Распилю его, так сколько бляшек выйдет. И потери самый пустяк.

Принесла камень домой и сразу занялась распиливать.

Работа не быстрая, а Кате еще надо по домашности управляться. Глядишь, весь день в работе, и скучать некогда. Только как за станок садиться, все про Данилушку вспомнит:

— Поглядел бы он, какой тут новый мастер объявился. На его-то да Прокопьичевом месте сидит!

Нашлись, конечно, охальники. Как без этого... Ночью под какой-то праздник засиделась Катя за работой, а трое парней и перелезли к ней в ограду. Попугать хотели али и еще что — их дело, только все выпивши. Катя ширкает пилой-то и не слышит, что у ней в сенках люди. Услышала, когда уж в избу ломиться стали:

— Отворяй, мертвякова невеста! Принимай живых гостей!

Катя сперва уговаривала их:

— Уходите, ребята!

Ну, им это ничего. Ломятся в дверь, того и гляди — сорвут. Тут Катя скинула крючок, расхлобыснула двери и кричит:

— Заходи, не то. Кого первого лобанить?

Парни глядят, а она с топором.

— Ты,— говорят,— без шуток!

— Какие,— отвечает,— шутки! Кто за порог, того и по лбу.

Парни хоть пьяные, а видят — дело не шуточное. Девка возрастная, оплечье крутое, глаз решительный, и топор, видать, в руках бывал. Не посмели ведь войти-то. Пошумели-пошумели, убрались да еще сами же про это рассказали. Парней и стали дразнить, что они трое от одной девки убежали. Им это не полюбилось, конечно, они и сплели, будто Катя не одна была, а за ней мертвяк стоял.

— Да такой страшный, что заневолю убежишь.

Парням поверили — не поверили, а по народу с той поры пошло:

— Нечисто в этом доме. Недаром она одна-одинешенька живет.

До Кати это донеслось, да она печалиться не стала. Еще подумала: «Пущай плетут. Мне так-то и лучше, если побаиваться станут. Другой раз, глядишь, не полезут».

Соседи и на то дивятся, что Катя за станком сидит. На смех ее подняли:

— За мужичье ремесло принялась! Что у нее выйдет!

Это Кате солонее пришлось. Она и сама подумывала:

«Выйдет ли у меня у одной-то?» Ну, все-таки с собой совладала: «Базарский товар! Много ли надо? Лишь бы гладко было... Неуж и того не осилю?»

Распилила Катя камешок. Видит — узор на редкость пришелся, и как намечено, в котором месте поперек отпилить. Подивилась Катя, как ловко все пришлось. Поделила по-готовому, обтачивать стала. Дело не особо хитрое, а без привычки тоже не сделаешь. Помаялась сперва, потом научилась. Хоть куда бляшки вышли, а потери и вовсе нет. Только и в брос, что на сточку пришлось.

Наделала Катя бляшек, еще раз подивилась, какой выходной камешок оказался, и стала смекать, куда сбыть поделку. Прокопьич такую мелочь в город, случалось, возил и там все в одну лавку сдавал. Катя много раз про эту лавку слыхала. Вот она и придумала сходить в город.

«Спрошу там, будут ли напередки мою поделку принимать».

Затворила избушку и пошла пешочком. В Полевой и не заметили, что она в город убралась. Узнала Катя, где тот хозяин, который у Прокопьича поделку принимал, и заявилась прямо в лавку. Глядит — полно тут всякого камня, а малахитовых бляшек целый шкап за стеклом. Народу в лавке много. Кто покупает, кто поделку сдает. Хозяин строгий да важный такой.

Катя сперва и подступить боялась, потом насмелилась и спрашивает:

— Не надо ли малахитовых бляшек?

Хозяин пальцем на шкап указал:

— Не видишь, сколь у меня добра этого?

Мастера, которые работу сдавали, припевают ему:

— Много ноне на эту поделку мастеров развелось. Только камень переводят. Того не понимают, что для бляшки узор хороший требуется.

Один-то мастер из полевских. Он и говорит хозяину потихоньку:

— Недоумок эта девка. Видели ее соседи за станком-то. Вот поди настряпала.

Хозяин тогда и говорит:

— Ну-ко, покажи, с чем пришла?

Катя и подала ему бляшку. Поглядел хозяин, потом на Катю уставился и говорит:

— У кого украла?

Кате, конечно, это обидно показалось. По-другому она заговорила:

— Какое твое право, не знаючи человека, эдак про него говорить? Гляди вот, если не слепой! У кого можно столько бляшек на один узор украсть? Ну-ко, скажи! — и высыпала на прилавок всю поделку.

Хозяин и мастера видят — верно, на один узор. И узор редкостный. Будто из середины-то дерево выступает, а на ветке птица сидит и внизу тоже птица. Явственно видно и сделано чисто.

Покупатели слышали этот разговор, потянулись тоже поглядеть, только хозяин сразу все бляшки прикрыл. Нашел заделье.

— Не видно кучей-то. Сейчас я их под стекло разложу. Тогда и выбирайте, что кому любо.— А сам Кате говорит: — Иди вон в ту дверь. Сейчас деньги получишь.

Пошла Катя, и хозяин за ней. Затворил дверку, спрашивает:

— Почем сдаешь?

Катя слыхала от Прокопьича цены. Так и сказала, а хозяин давай хохотать:

— Что ты!.. Что ты! Такую-то цену я одному полевскому мастеру Прокопьичу платил да еще его приемышу Данилу. Да ведь то мастера были!

— Я,— отвечает,— от них и слыхала. Из той же семьи буду.

— Вон что! — удивился хозяин.— Так это, видно, у тебя Данилова работа осталась?

— Нет,— отвечает,— моя.

— Камень, может, от него остался?

— И камень сама добывала.

Хозяин, видать, не верит, а только рядиться не стал. Рассчитался по-честному да еще говорит:

— Вперед случится такое сделать, неси. Безотказно принимать буду и цену положу настоящую.

Ушла Катя, радуется,— сколько денег получила! А хозяин те бляшки под стекло выставил. Покупатели набежали:

— Сколько?

Он, конечно, не ошибся,— в десять раз против купленного назначил, да и наговаривает:

— Такого узора еще не бывало. Полевского мастера Данилы работа. Лучше его не сделать.

Пришла Катя домой, а сама все дивится:

— Вот штука какая! Лучше всех мои бляшки оказались! Хорош камешок попался. Случай, видно, счастливый подошел.— Потом и хватилась: — А не Данилушко ли это мне весточку подал?

Подумала так, скрутилась и побежала на Змеиную горку.

А тот малахитчик, который хотел Катю перед городским купцом оконфузить, тоже домой воротился. Завидно ему, что у Кати такой редкостный узор получился. Он и придумал:

— Надо поглядеть, где она камень берет. Не новое ли какое место ей Прокопьич либо Данило указали?

Увидел, что Катя куда-то побежала, он и пошел за ней. Видит — Гумешки она обошла стороной и куда-то за Змеиную горку пошла. Мастер туда же, а сам думает: «Там лес. По лесу-то к самой ямке прокрадусь».

Зашли в лес. Катя вовсе близко и нисколько не сторожится, не оглядывается, не прислушивается. Мастер радуется, что ему так легонько достанется новое место. Вдруг в сторонке что-то зашумело, да так, что мастер даже испугался. Остановился. Что такое? Пока он так-то разбирался, Кати и не стало. Бегал он, бегал по лесу. Еле выбрался к Северскому пруду — версты поди за две от Гумешек.

Катя сном дела не знала, что за ней подглядывают. Забралась на горку, к тому самому месту, где первый камешок брала. Ямка будто побольше стала, а сбоку опять такой же камешок видно. Пошатала его Катя, он и отстал. Опять, как сучок, хрупнул. Взяла Катя камешок и заплакала-запричитала. Ну, как девки-бабы по покойнику ревут, всякие слова собирают.

— На кого ты меня, мил сердечный друг, покинул,— и протча тако...

Наревелась, будто полегче стало, стоит — задумалась, в руднишную сторону глядит. Место тут вроде полянки. Кругом лес густой да высокий, а в руднишную сторону помельче пошел. Время на закате. По низу от лесу на полянке темнеть стало, а в то место — к руднику солнышко

пришлось. Так и горит это место, и все камешки на нем блестят.

Кате это любопытно показалось. Хотела поближе подойти. Шагнула, а под ногой и схрупало. Отдернула она ногу, глядит — земли-то под ногами нет. Стоит она на каком-то высоком дереве, на самой вершине. Со всех сторон такие же вершины подошли. В прогалы меж деревьями внизу видно травы да цветы, и вовсе они на здешние не походят.

Другая бы на Катином месте перепугалась, крик-визг подняла, а она вовсе о другом подумала:

«Вон она, гора, раскрылась! Хоть бы на Данилушку взглянуть!»

Только подумала и видит через прогалы — идет кто-то внизу, на Данилушку походит и руки вверх тянет, будто сказать что хочет. Катя свету невзвидела, так и кинулась к нему... с дерева-то! Ну, а пала тут же на землю, где стояла. Образумилась, да и говорит себе:

— Верно, что блазнить мне стало. Надо поскорее домой идти.

Идти надо, а сама сидит да сидит, все ждет, не вскроется ли еще гора, не покажется ли опять Данилушко. Так до потемок и просидела. Тогда только и домой пошла, а сама думает: «Повидала все-таки Данилушку».

Тот мастер, который за Катей подглядывал, домой к этому времени выбежал. Поглядел — избушка у Кати заперта. Он и притаился,— посмотрю, что она притащила. Видит — идет Катя, он и встал поперек дороги:

— Ты куда это ходила?

— На Змеиную,— отвечает.

— Ночью-то? Что там делать?

— Данилу повидать...

Мастер так и шарахнулся, а на другой день по заводу шепотки поползли:

— Вовсе рехнулась мертвякова невеста. По ночам на Змеиную ходит, покойника ждет. Как бы еще завод не подожгла, с малого-то ума.

Братья-сестры прослышали, опять прибежали, давай строжить да уговаривать Катю. Только она и слушать не стала. Показала им деньги и говорит:

— Это, думаете, откуда у меня? У хороших мастеров не берут, а мне за перводелку столько отвалили! Почему так?

Братья слышали про ее-то удачу и говорят:

— Случай счастливый вышел. О чем тут говорить.

— Таких,— отвечает,— случаев не бывало. Это мне Данило сам такой камень подложил и узор вывел.

Братья смеются, сестры руками машут:

— И впрямь рехнулась! Надо приказчику сказать. Как бы всамделе завод не подожгла!

Не сказали, конечно. Постыдились сестру-то выдавать. Только вышли, да и сговорились:

— Надо за Катериной глядеть. Куда пойдет — сейчас же за ней бежать.

А Катя проводила родню, двери заперла да принялась новый-то камешок распиливать. Пилит да загадывает:

— Коли такой же издастся, значит, не поблазнило мне,— видала я Данилушку.

Вот она и торопится распилить. Поглядеть-то ей поскорее охота, как по-настоящему узор выйдет. Ночь уж давно, а Катя все за станком сидит. Одна сестра проснулась в эту пору, увидела огонь в избе, подбежала к окошку, смотрит сквозь щелку в ставне и дивится:

— И сон ее не берет! Наказанье с девкой!

Отпилила Катя досочку — узор и обозначился. Еще лучше того-то. Птица с дерева книзу полетела, крылья расправила, а снизу навстречу другая летит. Пять раз этот узор на досочке. Из точки в точку намечено, как поперек распилить. Катя тут и думать не стала. Схватилась, да и побежала куда-то. Сестра за ней. Дорогой-то постучалась к братьям — бегите, дескать, скорей. Выбежали братья, еще народ сбили. А уже светленько стало. Глядят,— Катя мимо Гумешек бежит. Туда все и кинулись, а она, видно, и не чует, что народ за ней. Пробежала рудник, потише пошла в обход Змеиной горки. Народ тоже призадержался — посмотрим, дескать, что она делать будет.

Катя идет, как ей привычно, на горку. Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. Пощупала рукой дерево, а оно холодное да гладкое, как камень шлифованный. И трава понизу тоже каменная оказалась, и темно еще тут. Катя и думает:

«Видно, я в гору попала».

Родня да народ той порой переполошились:

— Куда она девалась? Сейчас близко была, а не стало!

Бегают, суетятся. Кто на горку, кто кругом горки. Перекликаются друг с дружкой: «Там не видно?»

А Катя ходит в каменном лесу и думает, как ей Данилу найти. Походила-походила, да и закричала:

— Данило, отзовись!

По лесу голк пошел. Сучья запостукивали: «Нет его! Нет его! Нет его!» Только Катя не унялась:

— Данило, отзовись!

По лесу опять: «Нет его! Нет его! Нет его!» Катя снова:

— Данило, отзовись!

Тут Хозяйка горы перед Катей и показалась.

— Ты зачем,— спрашивает,— в мой лес забралась? Чего тебе? Камень, что ли, хороший ищешь? Любой бери да уходи поскорее!

Катя тут и говорит:

— Не надо мне твоего мертвого камня! Подавай мне живого Данилушку. Где он у тебя запрятан? Какое твое право чужих женихов сманивать?

Ну, смелая девка. Прямо на горло наступать стала. Это Хозяйке-то! А та ничего, стоит спокойненько:

— Еще что скажешь?

— А то и скажу — подавай Данилу! У тебя он... Хозяйка расхохоталась, да и говорит:

— Ты, дура-девка, знаешь ли, с кем говоришь?

— Не слепая,— кричит,— вижу. Только не боюсь тебя, разлучница! Нисколечко не боюсь! Сколь ни хитро у тебя, а ко мне Данило тянется. Сама видала. Что, взяла?

Хозяйка тогда и говорит:

— А вот послушаем, что он сам скажет.

До того в лесу темненько было, а тут сразу ровно он ожил. Светло стало. Трава снизу разными огнями загорелась, деревья одно другого краше. В прогалы полянку видно, а на ней цветы каменные, и пчелки золотые, как искорки, над теми цветами. Ну, такая, слышь-ко, красота, что век бы не нагляделся. И видит Катя: бежит по этому лесу Данило. Прямо к ней. Катя навстречу кинулась.

— Данилушко!

— Подожди,— говорит Хозяйка и спрашивает: — Ну, Данило-мастер, выбирай — как быть? С ней пойдешь — все мое забудешь, здесь останешься — ее и людей забыть надо.

— Не могу,— отвечает,— людей забыть, а ее каждую минуту помню.

Тут Хозяйка улыбнулась светленько и говорит:

— Твоя взяла, Катерина! Бери своего мастера. За удалость да твердость твою вот тебе подарок. Пусть у Данилы все мое в памяти останется. Только вот это пусть накрепко забудет! — И полянка с диковинными цветами сразу потухла.— Теперь ступайте в ту сторону,— указала Хозяйка да еще упредила: — Ты, Данило, про гору людям не сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил. А ты, Катерина, и думать забудь, что я у тебя жениха сманивала. Сам он пришел за тем, что теперь забыл.

Поклонилась тут Катя:

— Прости на худом слове!

— Ладно,— отвечает,— что каменной сделается! Для тебя говорю, чтоб остуды у вас не было.

Пошли Катя с Данилой по лесу, а он все темней да темней, а под ногами неровно — бугры да ямки. Огляделись, а они на руднике — на Гумешках. Время еще раннее, и людей на руднике нет. Они потихоньку и пробрались домой. А те, что за Катей побежали, все еще по лесу бродят да перекликаются: «Там не видно?»

Искали-искали, не нашли. Прибежали домой, а Данило у окошка сидит.

Испугались, конечно. Чураются, заклятья разные говорят. Потом видят — трубку Данило набивать стал. Ну и отошли.

«Не станет же,— думают,— мертвяк трубку курить».

Подходить стали один по одному. Глядят — и Катя в избе. У печки толкошится, а сама веселехонька. Давно ее такой не видали. Тут и вовсе осмелели, в избу вошли, спрашивать стали:

— Где это тебя, Данило, давно не видно?

— В Колывань,— отвечает,— ходил. Прослышал про тамошнего мастера по каменному делу, будто лучше его нет по работе. Вот и заохотило поучиться маленько. Тятенька покойный отговаривал. Ну, а я посамовольничал — тайком ушел. Кате вот только сказался.

— Пошто,— спрашивают,— чашу свою разбил?

— Ну, мало ли... С вечерки пришел... Может, выпил лишка... Не по мыслям пришлась, вот и ахнул. У всякого мастера такое поди случалось. О чем говорить.

Тут братья-сестры к Кате приступать стали, почему не сказала про Колывань-то. Только от Кати тоже немного добились. Сразу отрезала:

— Чья бы корова мычала, моя бы молчала. Мало я вам сказывала, что Данило живой. А вы что? Женихов мне подсовывали да с пути сбивали! Садитесь-ко лучше за стол. Испеклась у меня чирла-то*.

На том дело и кончилось. Посидела родня, поговорила о том-другом, разошлась. Вечером пошел Данило к приказчику объявиться. Тот пошумел, конечно. Ну, все-таки уладили дело.

Вот и стали Данило с Катей в своей избушке жить. Хорошо, сказывают, жили, согласно. По работе-то Данилу все горным мастером звали. Против него никто не мог сделать. И достаток у них появился. Только нет-нет — и задумается Данило. Катя понимала, конечно,— о чем, да помалкивала.

ПРИКАЗЧИКОВЫ ПОДОШВЫ



Был в Полевой приказчик — Северьян Кондратьич. Ох, и лютой, ох, и лютой! Такого, как заводы стоят, не бывало. Из собак собака. Зверь.

В заводском деле он, слышь-ко, вовсе не мараковал*, а только мог человека бить. Из бар был, свои деревни имел, да всего решился. А все из-за лютости своей. Сколько-то человек до смерти забил, да еще которых из чужого владенья. Ну огласка и вышла, прикрыть никак невозможно. Суд да дело — Северьяна и присудили в Сибирь либо на здешние заводы. А Турчаниновым — владельцам — такого убойцу подавай. Сразу назначили Северьяна в Полевую.

— Сократи, сделай милость, тамошний народ. Ежели и убьешь кого, на суд тебя тут никто не потянет. Лишь бы народ потише стал, а то он вон что вытворять придумал.

А в Полевой перед этим старого-то приказчика на

калену болванку посадили, да так, что он в одночасье помер. Драли, конечно, за приказчика-то. Только виноватого не нашли.

— Никто его не садил. Сам сел. Угорел, может, либо затменье на него нашло. Хватились поднять его с болванки, а уж весь зад до нутра испортило. Такая, видно, воля божья, чтоб ему с заду смерть принять.

По этому случаю владельцам заводским и понадобилось рыкало-зыкало, чтобы народ испужать.

Вот и стал убойца Северьян нашим заводским приказчиком. Он, слышь-ко, смелый был, а все-таки понимал — завод не деревня, больше опаски требует. Народ, вишь, завсегда кучкой, место тесное, да еще у огня. Всякий с орудией какой-нибудь... Клещами двинуть может, молотком садануть, сгибнем либо полосой брякнуть, а то и плахой ахнуть. Очень даже просто. Могут и в валок либо в печь головой сунуть. Угорел-де, подошел близко, его и затянуло. Поджарили же того приказчика.

Северьян и набрал себе обережных. Откуда только выкопал! Один другого могутнее да отчаяннее. И все народишко — откать* последняя. Братцы-хватцы из шаталь ной волости. С этой оравой и ходил по заводу. Впереди сам идет. В руке плетка в два перста толщиной, с подвитым кончиком. В кармане пистолет, на четыре ствола заряженный. Пистончики надеты, только из кармана выдернуть. За Северьяном шайка идет. Кто с палкой, кто с саблей, а кто с пистолетом тоже. Чисто в поход какой срядился.

Первым делом уставщика спрашивает:

— Кто худо робит?

Тот уж знает, что ладно про всех сказать нельзя, сам под плетку попадешь — потаковщик-де. Вот и начинает уставщик вины выискивать. На ком по делу, на ком — понасердке*, а на ком и вовсе зря. Лишь бы от себя плетку отвести. Наговорит так-то на людей, приказчик и примется лютовать. Сам, слышь-ко, бил. Хлебом его не корми, любил над человеком погалиться*. Такой уж характер имел. Убойца, однем словом.

В Медну гору сперва все-таки не спущался. Без привычки-то под землей страшно, хоть кому доведись. Главная причина — потемки, а свету не прибавишь. Хоть сам владелец спустись, ту же блёндочку* дадут. Разбери, горит она али так только вид дает. Ну, и мокреть тоже

И народ в горе вовсе потерянный. Такому что жить, что умирать — все едино. Безнадежный народ, самый для начальства беспокойный. И про то Северьян слыхал, что у Медной горы своя Хозяйка есть. Не любит будто она, как под землей над человеком измываются. Вот Северьян и побаивался. Потом насмелился. Со всей своей шайкой в гору спустился. С той поры и пошло. Ровно еще злости в Северьяне прибавилось. Раньше руднишных драли завсегда наверху, а теперь нову моду придумали. Приказчик плетью и чем попало прямо в забое народ бьет. Да каждый день в гору повадился, а распорядок у него один — как бы побольше людям худа сделать. Который день много народу изобьет, в тот и веселее. Расправит усы свои, да и хрипит руднишному смотрителю:

— Ну-ко, старый хрыч, приготовь к подъему. Пообедать пора, намахался.

С неделю он так-то хозяевал в горе. Потом случай и вышел. Только сказал руднишному смотрителю — готовь к подъему,— вдруг голос, да так звонко, будто где-то совсем близко:

— Гляди, Северьянко, как бы подошвы деткам своим на помин не оставить!

Приказчик схватился:

— Кто сказал? — Повернулся на голос, да и повалился, чуть ноги не переломал. Они у него как прибитые стали. Едва от земли оторвал. А голос женский. Сумление тут приказчика и взяло, а все-таки виду не оказывает. Будто ничего не слыхал. Северьянова шайка тоже молчит, а видать — приуныла. Эти сразу сметили — *сама* погрозилась.

Вот ладно. Перестал приказчик в гору лазать. Вздохнули маленько руднишные, только ненадолго. Приказчику, вишь, стыдно: вдруг рабочие тот голос слышали, да теперь и посмеиваются про себя: струсил-де Северьян. А это ему хуже ножа, как он завсегда похвалялся — никого не боюсь. Приходит он в прокатную, а там кричат:

— Эй, подошвы береги! — Это у них присловье такое. Упредить, значит, кто зазевался. А приказчик свое думает:

«Надо мной смеются». Шибко его тем словом укололо. Не стал и человека искать, который про подошвы кричал. Даже никого на тот раз не избил, а стал посередке прокатной, да и говорит своей-то ораве:

— Что-то мы давненько в горе не были. Надо там за порядком доглядеть.

Спустились в гору. И такая на приказчика злость накатила, как еще не бывало. Походя всех лупит. Все ему показать-то охота, что никого не боится. И вот опять тот же голос:

— Другой раз, Северьянко, тебя упреждаю. Пожалей своих малолетков. Подошвы им только оставишь!

Приказчик на голос повернулся и повалился, как и тот раз. Ноги от земли оторвать не может. Глядит, а они чуть не на вершок в породу вдавились, хоть каелкой обивай.

Вырвал все-таки, только сапоги спереди оскалились — подошвы отстали.

Притих приказчик, а как наверх поднялись, опять осмелел. Спрашивает своих-то:

— Слыхали что? в шахте?

Те говорят:

— Слыхали.

— Видели — как ноги у меня прилипли?

— Видели,— отвечают.

— Как думаете — что это?

Ну, те мнутся, понятно, потом один выискался и говорит:

— Не иначе, это Медной горы Хозяйка тебе знак подает. Грозится вроде, а чем — непонятно.

— Так вот,— говорит Северьян,— слушайте, что я скажу. Завтра как свет в гору приготовьтесь. Я им покажу, как меня пужать да бабенку в горе прятать. Все штольни-забои облазаю, а бабенку ту поймаю и вот этой плеткой с пяти раз дух из нее вышибу. Слышали?

И дома перед женой этак же похваляется. Та, женским делом, в слезы.

— Ох да ах, поберегся бы ты, Северьянушко! Хоть бы попа позвал, чтоб он тебя оградил.

И верно, попа позвали. Тот попел, почитал, образок Северьяну на шею повесил, пистолет водичкой покропил, да и говорит:

— Не беспокойся, Северьян Кондратьич, а в случае чего — читай «Да воскреснет бог».

На другой день на свету вся приказчикова шайка к спуску явилась. Помучнели* все, один приказчик гоголем похаживает. Грудь выставил, плечи поднял, и гля-

дят — сапоги на нем новешенькие, как зеркало блестят. А Северьян плеткой по сапожкам похлопывает и говорит:

— Еще раз оборву подошвы, так покажу руднишному смотрителю, как грязь разводить. Не погляжу, что он двадцать лет в горе служит, спущу и ему шкуру. А вы первым делом старайтесь бабенку эту углядеть. Кто ее поймает, тому пятьдесят рублей награда.

Спустились, значит, в гору и давай везде шнырять. Приказчик, как обыкновенно, впереди, а орава за ним. Ну, в штольнях-то узко, они цепочкой и растянулись, один за другим. Вдруг приказчик видит — впереди кто-то маячит. Так себе легонько идет, блёндочкой помахивает. На повороте видно стало, что женщина. Приказчик заорал,— стой! — а она будто и не слыхала. Приказчик за ней бегом, а его верные слуги не шибко торопятся. Дрожь на их нашла. Потому видят — неладно дело: *сама* это. А назад податься тоже не смеют — Северьян до смерти забьет. Приказчик все вперед бежит, а догнать не может. Лается, конечно, всяко, грозится, а она и не оглянется. Народу в той штольне ни души.

Вдруг женщина повернулась, и сразу светло стало.

Видит приказчик — перед ним девица красоты неописанной, а брови у ней сошлись и глаза как уголья.

— Ну,— говорит,— давай разочтемся, убойца! Я тебя упреждала: перестань,— а ты что? Похвалялся меня плеткой с пяти раз забить? Теперь что скажешь?

А Северьян вгорячах кричит:

— Хуже сделаю. Эй, Ванька, Ефимка, хватай девку волоки отсюда, стерву!

Это он своим-то слугам. Думает, тут они, близко а сам чует — ноги у него опять к земле прилипли.

Уж не своим голосом закричал:

— Эй, сюда!

А девица ему и говорит:

— Ты глотку-то не надрывай. Твоим слугам тут ходу нет. Их и в живых сейчас многих не будет.

И легонько этак рукой помахала. Как обвал сзади послышался, и воздухом рвануло. Оглянулся приказчик, а за ним стена — ровно никакой штольни и не было.

— Теперь что скажешь? — спрашивает опять Хозяйка.

А приказчик,— он шибко ожесточенный был, да и попом обнадеженный,— выхватил свой пистолет.

— Вот что скажу! — И хлоп из одного ствола... в



Хозяйку-то! Та пульку рукой поймала, в коленко приказчику бросила и тихонько молвила:

— До этого места нет его.— Как приказ отдала. И сейчас же приказчик по самое коленко зеленью оброс Ну, тут он, понятно, завыл:

— Матушка-голубушка, прости, сделай милость. Внукам-правнукам закажу. От места откажусь. Отпусти душу на покаянье!

А сам ревет, слезами уливается. Хозяйка даже плюнула.

— Эх ты,— говорит,— погань, пустая порода! И умереть не умеешь. Смотреть на тебя — с души воротит.

Повела рукой, и приказчик по самую маковку зеленью зарос. Как глыба большая на его месте стала. Хозяйка подошла, чуть задела рукой, глыба и свалилась, а Хозяйка как растаяла.

А в горе переполох. Ну, как же — штольня обвалилась, а туда приказчик со своей свитой ушел. Не шутка дело. Народ согнали. Откапывать стали. Наверху суматоха тоже поднялась. Барину в Сысерть нарочного послали. Горное начальство из города на другой день прикатило. Дня через два отрыли приказчиковых-то слуг. И вот диво! Которые хуже-то всех были, те все мертвые, а кои хоть маленько стыд имели, те только изувечены.

Всех нашли, только приказчика нету. Потом уж докопались до какого-то неведомого забоя. Глядят, а на середине глыба малахиту отворочена лежит. Стали оглядывать ее и видят,— с одного-то конца она шлифована.

«Что, думают, за чудо. Кому тут малахит шлифовать?» Стали хорошенько разглядывать, да и увидели — посредине шлифованного места две подошвы сапожные. Новехоньки подошевки-то. Все гвоздики на них видно. В три ряда. Довели об этом до барина, а тот уже старик тогда был, в шахту давно не спускался, а поглядеть охота. Велел вытаскивать глыбу как есть. Сколько тут битвы было! Подняли все-таки. Старый барин, как увидел подошвы, так в слезы ударился.

— Вот какой у меня верный слуга был! — Потом и говорит: — Надо это тело из камня вызволить и с честью похоронить.

Послали сейчас же на Мрамор за самым хорошим камнерезом. А там тогда Костоусов на славе был. Привезли его. Барин и спрашивает:

— Можешь ты тело из камня вызволить и чтоб тела не испортить?

Мастер оглядел глыбу и говорит:

— А кому обой* будет?

— Это,— говорит барин,— уж в твою пользу, и за работу заплачу, не поскуплюсь.

— Что ж,— говорит,— постараться можно. Главное дело — материал шибко хороший. Редко такой и увидишь. Одно горе — дело наше мешкотно. Если сразу до тела обивать, дух, я думаю, смрадный пойдет. Сперва, видно, надо оболванить, а это малахиту потеря.

Барин даже огневался на эти слова.

— Не о малахите,— говорит,— думай, а как тело моего верного слуги без пороку добыть.

— Это,— отвечает мастер,— кому как.

Он, вишь, вольный, Костоусов-то, был. Ну, и разговор у него такой. Стал Костоусов мертвяка добывать. Оболванил сперва, малахит домой увез. Потом стал до тела добираться. И ведь что? Где тело либо одежа были, там все пустая порода, а кругом малахит первосортный.

Барин все-таки эту пустую породу велел похоронить как человека. А мастер Костоусов жалел:

— Кабы знать,— говорит,— так надо бы глыбу сразу на распил пустить. Сколько добра сгибло из-за приказчика, а от него, вишь, что осталось! Одни подошвы.

1936

ИВАНКО КРЫЛАТКО



Про наших златоустовских сдавна сплетка пущена, будто они мастерству у немцев учились. Привезли, дескать, в завод сколько-то немцев. От них здешние заводские и переняли, как булатную сталь варить, как рисовку и насечку делать, как позолоту наводить. И в книжках будто бы так записано.

Только этот разговор в половинку уха слушать надо, а в другую половинку то лови, что наши старики ска-

зывают. Вот тогда и поймешь, как дело было,— кто у кого учился.

То правда, что наш завод под немецким правленьем бывал. Года два ли, три вовсе за немцем-хозяином числился. И потом, как обратно в казну отошел, немцы долго тут толкошились. Не дом, не два, а полные две улицы набилось. Так и звались: Большая Немецкая — это которая меж горой Бутыловкой да Богданкой — и Малая Немецкая. Церковь у немцев своя была, школа тоже, и даже судились немцы своим судом.

Только и то надо сказать, что других жителей в заводе довольно было. Демидовкой не зря один конец назывался. Там демидовские мастера жили, а они, известно, булат с давних годов варить умели.

Про башкир тоже забывать не след. Эти и вовсе задолго до наших в здешних местах поселились.

Народ, конечно, небогатый, а конь да булат у них такие случались, что век не забудешь. Иной раз такой узор старинного мастерства на ноже либо сабле покажут, что по ночам тот узор тебе долго снится.

Вот и выходит — нашим и без навózного немца было у кого поучиться. И сами, понятно, не без смекалки были, к чужому свое добавляли. По старым поделкам это въявь видно. Кто и мало в деле понимает, и тот по этим поделкам разберет, походит ли баран на беркута,— немецкая то есть работа на здешнюю.

Мне вот дедушко покойный про один случай сказывал. При крепостном еще положении было. Годов поди за сто. Немца в ту пору жировало на наших хлебах довольно, и в начальстве все немцы ходили. Только уж пошел разговор — зря, дескать, такую ораву кормим, ничему немцы наших научить не могут, потому сами мало дело понимают. Может, и до высокого начальства такой разговор дошел. Немцы и забеспокоились. Привезли из своей земли какого-то Вурму или Мумру. Этот, дескать, покажет, как булат варить. Только ничего у Мумры не вышло. Денег проварил уйму, а булат и плиточки не получил. Немецкому начальству вовсе конфуз. Только вскорости опять слушок по заводу пустили: едет из немецкой земли самолучший мастер. Рисовку да позолоту покажет, про какие тут и слыхом не слыхивали. Заводские после Мумры-то к этой хвастне безо внимания. Меж собой одно судят:

— Язык без костей. Мели, что хочешь, коли воля дана.

Только верно — приехал немец. Из себя видный, а кличка ему Штоф. Наши, понятно, позубоскальничали маленько:

— Штоф не чекушка. Вдвоем усидишь, и то песни запоешь. Выйдет, значит, дело у этого Штофа.

Шутка шуткой, а на деле оказалось — понимающий мужик. Глаз хоть навыкате, а верный, руке с инструментом полный хозяин и на работу не ленив. Прямо сказать, мастер. Одно не поглянулось: шибко здыморыльничал и на все здешнее фуйкал. Что ему ни покажут из заводской работы, у него одно слово: фуй да фуй. Его за это и прозвали Фуйко Штоф.

Работал этот Фуйко по украшению жалованного оружия. Как один у него золотые кони на саблях выходили, и позолота без пятна. Ровно лежит, крепко. И рисовка чистая. Все честь честью выведено. Копытца стаканчиками, ушки пенечками, челку видно, глазок-точечка на месте поставлена, а в гриве да хвосте тоже силышки считай. Стоит золотой конек, а над ним золотая коронка. Тоже тонко вырисована. Все жички-цепочки разобрать можно. Одно не поймешь — к чему она тут над коньком пристроилась.

Отделает Фуйко саблю и похваляется:

— Это есть немецкий рапота.

Начальство ему поддувает:

— О та. Такой тонкий рапота руски понимайт не может.

Нашим мастерам, понятно, это в обиду. Заподумывали, кого бы к немцу подставить, чтобы не хуже сделал. Говорят начальству,— так и так, надо к Штофу на выучку из здешних кого определить. Положение такое есть, а начальство руками машет, свое твердит:

— Это есть ошень тонкий рапота. Руски понимайт не может.

Наши мастера на своем стоят, а сами думают, кого поставить. Всех хороших рисовщиков и позолотчиков, конечно, наперечет знали, да ведь не всякий подходит. Иной уж в годах. Такого в подручные нельзя, коли он сам давно мастер. Надо кого помоложе, чтобы вроде ученика пришелся.

Тут в цех и пришел дедушко Бушуев. Он раньше

по украшению же работал, да с немцами разаркался и свое дело завел. Поставил, как у нас водится, в избе чугунную боковушку кусинской работы и стал по заказу металл в синь да в серебро разделывать. Ну, и от позолоты не отказывался. И был у этого дедушки Бушуева подходящий паренек, не то племянник, не то внучонок — Иванко, той же фамилии — Бушуев. Смышленый по рисовке. Давно его в завод сманивали, да дедушко не отпускал.

— Не допущу,— кричит,— чтоб Иванко с немцами якшался. Руку испортят и глаз замутят.

Поглядел дедушко Бушуев на Фуйкину саблю, аж крякнул и похвалил:

— Чистая работа!

Потом, мало погодя, похвастался:

— А все-таки у моего Ванятки рука смелее и глаз веселее.

Мастера за эти слова и схватились:

— Отпусти к нам на завод. Может, он всамделе немца обыграет.

Ну, старик ни в какую.

Все знали — старик неподатливый, самостоятельного характеру. Правду сказать, вовсе поперешный. А все-таки думка об Иванке запала в головы. Как дедушко ушел, мастера и переговариваются меж собой:

— Верно, попытать бы!

Другие опять отговаривают:

— Впусте время терять. Парень из рук дедушки не вышел, а того ни крестом, ни пестом с дороги не своротишь.

Кто опять придумывает:

— Может, хитрость какую в этом деле подвести?

А то им невдогадку, что старик из цеха сумный пошел.

Ну, как — русский человек! Разве ему охота ниже немца ходить? Никогда этого не бывало!

Все-таки два дня крепился. Молчал. Потом, ровно его прорвало, заорал:

— Иванко, айда на завод!

Парень удивился:

— Зачем?

— А затем,— кричит,— что надобно этого немецкого

Фуйку обставить. Да так обогнать, чтоб и спору не было.

Ванюшка, конечно, про этого вновь приезжего слышал. И то знал, что дедушко недавно в цех ходил, только Иванко об этом помалкивал, а старик расходился.

— Коли,— говорит,— немца работой обгонишь, женись на Оксютке. Не препятствую!

У парня, видишь, на примете девушка была, а старик никак не соглашался:

— Не могу допустить к себе в дом эку босоту, бесприданницу.

Иванку лестно показалось, что дедушко по-другому заговорил,— живо побежал на завод. Поговорил с мастерами,— так и так, дедушко согласен, а я и подавно. Сам желание имею с немцем в рисовке потягаться. Ну, мастера тогда и стали на немецкое начальство наседать, чтоб по положению к Фуйке русского ученика поставить — Иванка, значит. А он парень не вовсе рослый. Легкой статьи. В жениховской поре, а парнишком глядит. Как весенняя байга у башкир бывает, так на трехлетках его пускали. И коней он знал до косточки.

Немецкое начальство сперва поартачилось, потом глядит — парнишко замухрышистый, согласилось: ничего, думает, у такого не выйдет. Так Иванко и попал к немцу в подручные. Присмотрелся к работе, а про себя думает — хорошо у немца конек выходит, только живым не пахнет. Надо так приспособиться, чтоб коня на полном бегу рисовать. Так думает, а из себя дурака строит, дивится, как у немца ловко каждая черточка приходится. Немец знай брюхо поглаживает да приговаривает:

— Это есть немецкий рапота.

Прошло так сколько-то времени, Фуйко и говорит по начальству:

— Пора этот мальшик проба ставить,— а сам подмигивает, вот-де смеху-то будет. Начальство сразу согласилось. Дали Иванку пробу, как полагалось. Выдали булатную саблю, назначили срок и велели рисовать коня и корону, где и как сумеет.

Ну, Иванко и принялся за работу. Дело ему, по-настоящему сказать, знакомое. Одно беспокоит — надо в чистоте от немца не отстать и выдумкой перешагнуть. На том давно решил,— буду рисовать коня на полном бегу Только как тогда с коронкой? Думал-думал и давай ри

совать пару коней. Коньков покрыл лентой, а на ней коронку вырисовал. Тоже все жички-веточки разберешь, и маленько эта коронка назад напрочапилась, как башкир на лошади, когда на весь мах гонит.

Поглядел Иванко, чует — ловко рисовка к волновому булату пришлась. Живыми коньки вышли, и коронка делу не мешает,— будто несут ее кони.

Подумал-подумал Иванко и вспомнил, как накануне вечером Оксютка шептала:

— Ты уж постарайся, Ваня! Крылышки, что ли, приделай коньку, чтоб он лучше Фуйкина вышел.

Вспомнил это и говорит:

— Э, была не была! Может, так лучше!

Взял да и приделал тем конькам крылышки, и видит — точно, еще лучше к булатному узору рисовка легла. Эту рисовку закрепил и по дедушкиному секрету вызолотил.

К сроку изготовил. Отполировал старательно, все чатинки загладил, глядеть любо. Объявил,— сдаю пробу. Ну, люди сходиться стали.

Первым дедушко Бушуев приплелся. Долго на саблю глядел. Рубал ей и по-казацки и по-башкирски. На крепость тоже пробовал, а больше того на коньков золотых любовался. До слезы смотрел. Потом и говорит:

— Спасибо, Иванушко, утешил старика!.. Полагался на тебя, а такой выдумки не чаял. В чиковку к узору твоя рисовка подошла. И то хорошо, что от эфесу ближе к рубальному месту коньков передвинул.

Наши мастера тоже хвалят. А немцы разве поймут такое? Как пришли, так шум подняли:

— Какой глюпость! Кто видел коня с крильом! Пошему корона сбок лежаль? Это есть поношений на коронованный особ!

Прямо сказать, затакали парня, чуть не в тюрьму его загоняют. Тут дедушко Бушуев разгорячился:

— Псы вы,— кричит,— бессмысленные! Взять вот эту саблю да порубать вам осиновые башки. Что вы в таком деле понимаете?

Старика, конечно, свои же вытолкали, чтоб всамделе немцы до худого не довели. А немецкое начальство Ванятку прогнало. Визжит вдогонку:

— Такой глюпый мальчишка завод не пускайть! Штраф платить будет! Штраф!

Иванко от этого визгу приуныл было, да дедушко подбодрил:

— Не тужи, Иванко! Без немцев жили и дальше проживем. И штраф им выбросим. Пускай подавятся. Женись на своей Оксютке. Сказал — не препятствую,— и не препятствую.

Иванко повеселел маленько, да и обмолвился:

— Это она надоумила крылышки-то конькам приделать.

Дедушко удивился:

— Неуж такая смышленая девка?

Потом помолчал малость, да и закричал на всю улицу:

— Лошадь продам, а свадьбу вашу справлю, чтоб весь завод знал. А насчет крылатых коньков не беспокойся. Не всё немцы верховодить у нас в заводе будут. Найдутся люди с понятием. Найдутся! Еще, гляди, награду тебе дадут! Помяни мое слово.

Люди, конечно, посмеиваются над стариком, а по его слову и вышло.

Вскорости после Иванковой свадьбы к нам в завод царский поезд приехал. Тройках поди на двадцати. С этим поездом один казацкий генерал случился. Еще из кутузовских. Немало он супостатов покрошил и немецкие, сказывают, города брал.

Этот генерал ехал в сибирскую сторону по своим делам, да царский поезд его нагнал. Ну человек заслуженный. Царь и взял его для почету в свою свиту. Только глядит — у старика заслуг-то на груди небогато.

У ближних царских холуев, которые платок поднимают да кресло подставляют,— куда больше. Вот царь и придумал наградить этого генерала жалованной саблей.

На другой день, как приехали в Златоуст, пошли все в украшенный цех. Царь и говорит генералу:

— Жалую тебя саблей. Выбирай самолучшую.

Немцы, понятно, спозаранку всю Фуйкину работу на самых видных местах разложили. А один наш мастер возьми и подсунь в то число Иванковых коньков. Генерал, как углядел эту саблю, сразу ее ухватил. Долго на коньков любовался, заточку осмотрел, все винтики опробовал и говорит:

— Много я на своем веку украшенного оружия видел, а такой рисовки не случалось. Видать, мастер с полетом. Крылатый человек. Хочу его поглядеть.



Ну, немцам делать нечего, пришлось за Иванком послать. Пришел тот, а генерал его благодарит. Выгреб сколько было денег в кармане и говорит:

— Извини, друг, больше не осталось: поиздержался в дороге. Давай хоть я тебя поцелую за твое мастерство. Оно к доброму казацкому удару ведет.

Тут генерал так саблей жикнул, что царской свите холодно стало, а немцев пот прошиб. Не знаю,— правда ли, будто немец при страхе первым делом кругом отсыреет. Потому, видишь,— пивом наливается. Наши старики так сказывали, а им случалось по зауголкам немца бивать.

С той вот поры Ивана Бушуева и стали по заводу Крылатым звать. Через год ли, больше за эту саблю награду выслали, только немецкое начальство, понятно, ту награду зажилило. А Фуйко после того случая в свою сторону уехал. Он, видишь, не в пример прочим все-таки мастерство имел, ему и обидно показалось, что его работу ниже поставили.

Иван Бушуев, конечно, в завод воротился, когда немецких приставников да нахлебников всех повыгнали, а одни настоящие мастера остались. Ну, это не один год тянулось, потому у немецкого начальства при царе рука была и своей хитрости не занимать.

Оксюткой дедушко Бушуев крепко доволен был. Всем соседям нахваливал:

— Отменная бабочка издалась. Как пара коньков с Иванком в житье веселенько бегут. Ребят хорошо ростят. В одном оплошка. Не принесла Оксютка мне такого правнучка, чтоб сразу крылышки знатко было. Ну, может, принесет еще, а может, у этих ребят крылья отрастут. Как думаете? Не может того быть, чтобы Крылатковы дети без крыльев были. Правда?

1943

Герой сказа Иван Бушуев — лицо реальное. Художественные работы этого замечательного русского мастера хранятся в музее города Златоуста.

КОРЕННАЯ ТАЙНОСТЬ



На память людскую надеяться нельзя, только и дела тоже разной мерки бывают. Иное как мокрый снег не по времени. Идет он — видишь, а прошел — и званья не осталось. А есть и такие дела, что крепко лежат, как камешок да еще с переливом. Износу такому нет, и далеко видно. Сто годов пройдет, а о нем все разговор. Бывает и так, что через много лет оглядят такой камешок и подивятся:

— Вот оно как сделано было, а мы думали, по-другому.

Такое вот самое и случилось с нашей златоустовской булатной сталью.

Больше сотни годов прошло с той поры, как в нашем заводе сварили такую булатную сталь, перед которой все тогдашние булаты в полном конфузе оказались. В те года на заводе в начальстве и мастерах еще много немцев сидело. Им, понятно, охота была такую штуку присвоить: мы, мол, придумали и русских рабочих обучили. Только инженер Аносов этого не допустил. Он в книжках напечатал, что сталь сварили без немцев. Те еще плели: по нашим составам. Аносов и на это отворот полный дал и к тому подвел, что златоустовская булатная сталь и рядом с немецкими не лежала. Да еще добавил: коли непременно надо родню искать златоустовскому булату, так она в тех старинных ножах и саблях, кои иной раз попадаются у башкир, казахов и прочих народов той стороны. И закалка такая же, нисколь она на немецкую не походит. Немцы видят — сорвалась их выдумка, за другое принялись: подхватили разговор о старинном оружии и давай в ту сторону дудеть. Им, видишь, всего дороже было, чтоб и думки такой не завелось, будто русские мастера сами могут что путное сделать. Вот немцы и старались. Да и у наших к той поре еще мода не прошла верить, будто все, что позанятнее, принесли к нам из какой-нибудь чужой стороны. Вот и пошел разговор, что Аносов много лет по разным кибиточным кузнецам ходил да ездил и у одного такого и научился булат варить. Которые пословоохотливее, те и вовсе огородов нагородили, будто Аносов у того кибиточного куз-

неца сколько-то годов в подручных жил и не то собирался не то женился на его дочери. Тем будто и взял мастера и тайность с булатом разведал.

Вот и вышла немецкого шитья безрукавка: Аносов не сам до дела дошел, а перенял чужую тайность, и то вроде как обманом. Про мастеров заводских и помину нет. Им привезли готовенькое — они и стали делать.

Никакой тут ни выдумки, ни заботы. Да и что они могут, темные да слепые, если кто со стороны не покажет.

Только безрукавка — безрукавка и есть: руки видны. И диво, что и теперь есть, кто этому верит. До сих пор рассказывают да еще с поучением: вот какой Аносов человек был! Пять годов своей жизни не пожалел, по степям бродяжкой шатался, за молотобойца ворочал, а тайность с булатом разведал. Того в толк не возьмут, походит ли это на правду. Все-таки Аносов Горного корпуса инженер был. Таких в ту пору не сотнями, а десятками считали. При заводе он тоже не без дела состоял. Выехать такому на месяц, на два, и то надо было у главного начальства спроситься. А тут, на-ко, убрался в степи и на пять годов! Кто этому поверит? Да и кто бы отпустил к кибиточным кузнецам, коли тогда вовсе не по тем выкройкам шили. Если кого посылали учиться в чужие края, так не в ту сторону.

Ну, все-таки это разговор на два конца: кому досуг да охота, тот спорить может,— так ли, не так ли было. А вот есть другая зацепка, покрепче, понадежнее. С нее уж не сорвешься. Сколько ни крутись, ни упирайся, а на нашем берегу будешь, на златоустовском. Сам скажешь: верное дело. Тут она, эта булатная сталь, на этом заводе родилась, тут и захоронена.

Которые златоустовские старики это понимают, они вот как рассказывали.

Приехал инженер Аносов на завод в те года, когда еще немцев довольно сидело. Ну, а этот — свой, русский человек. Про немцев он на людях худого не говорил, а по всему видно, что не больно ему любы. Заметно, что и не боится их.

Рабочие, понятно, и обрадовались. Кто помоложе, те в большой надежде говорят:

— Этот покажет немцам! Покажет! Того и гляди, к выгонке и подведет. Молодой, а в чинах! Силу, значит, имеет

Другие опять на то надеются:

— Покажет, не покажет, а заступа нашему брату будет, потому — свой человек и по заводскому делу вроде как понимает. Понатужиться надо, чтоб работа без изъяну шла.

Старики, конечно, сомневаются. Время тогда крепостное было, старики-то всякого натерпелись. Они и твердят свое:

— Постараться можно, а только сперва приглядеться надо. Помни присловье: с барином одной дорожкой иди, а того не забывай, что в концах разойдешься: он в палаты, а ты на полати, да и то не всякий раз.

Молодые оговаривают стариков:

— Что придумали! Да и не такой он человек, чтоб так-то сторожиться.

— Лучше бы не надо, кабы не такой,— отвечают старики,— а все опаска требуется. Кто по мастерству коренную тайность имеет, ту открывать не след. Погодить надо.

Молодые этого слушать не хотят, руками машут, кричат:

— Как вам, старики, не совестно!

А те уперлись:

— Больше поди вашего учены! Знаем, что барин тебя может под плети положить, под палки поставить, по зеленой улице провести, а ты его никогда.

На том все же сошлись, что надо стараться, чтобы лучше прежнего дело шло. Аносов, и верно, оказался человек обходительный. Не то что с мастерами, а и с простыми рабочими разговаривает, о том, о другом спрашивает, и по разговору видно: заводское дело понимает и ко многому любопытствует.

Сталь в ту пору по мелочам варили. И был в числе сталеваров дедушка Швецов. Он в те годы уж вовсе утлый* стал, еле ноги передвигал. Варил он с подручным парнем из своей же семьи Швецовых, как обычай такой держался, чтоб отец сыну, дед внуку свое мастерство передавал. Старик всегда варил хорошую сталь, только маленько разных статей. Вроде искал чего-то. Немецкие начальники это подметили и первым делом нашли придирку, чтоб убрать у старика его подручного. Загнали парня в дальний курень, а на его место поставили какого-то немецкого Вилю-Филю. Старик на это свою хит-

рость поимел: стал варить, лишь бы с рук сбыть. Было это до приезда Аносова. Вот этот Швецов и приглядывался к Аносову, потом и говорит:

— Коли твоей милости угодно, могу хорошую сталь сварить, только надо мне подручного, которому могу верить на полную силу, а этого немецкого Вилю-Филю мне никак не надо.

И рассказал, как было. Аносов выслушал и говорит:

— Ладно, дед, будь в надежде, охлопочу тебе внучонка, а этого немца пусть сами учат чему умеют.

Вскорости шум поднял с немецким начальством. Почему у вас порядок вверх ногами? Вас сюда не на то привезли, чтоб у наших мастеров своих ребят учили. Немцы отбиваются, что у старика учиться нечему. Ну, все-таки уступили. Старик Швецов рад-радехонек, а молодой пуще того. Оба во всю силу стараются. Сталь пошла не в пример лучше. Аносов похваливает:

— Старайся, дедушка!

А старик в задор вошел.

— Дай срок, я тебе такую сварю, как в старинных башкирских ножах бывает. Видал?

С этого и началось. Аносову этот разговор в самую точку попал, потому как он ножами да саблями старинной работы давно занимался. Обрадовался он и объявил:

— Коли сваришь такую, рассчитывай, что тебя и внука твоего на волю охлопочу.

Что и говорить, как при таком обещании люди старались. Дедушка Швецов из заветного сундучка какие-то камешки достал, растолок их в ступке и стал подсыпать в каждую плавку. Норовит сделать все-таки без Аносова. Внучек спрашивает:

— Что это ты, дедушка, подсыпаешь?

А дед ему в ответ:

— Помалкивай до поры. Это тайность коренная, про нее сказать не могу.

Парень давай уговаривать старика, чтоб он не таился от Аносова, а старик объясняет:

— Верно, парень! Мне и самому вроде это стыдно, а не могу. Тятя покойный с меня заклятие взял, чтоб сохранить эту тайность до своего смертного часу. В смертный час велено другому надежному человеку передать из крепостных же, а больше никому. Хоть золотой будь!



Так они и работали, с потайкой от Аносова. Старик на верную дорожку вышел, да не дотянул. Сварил как-то и говорит внуку:

— Пойдем поскорее домой. Не выварил, видно, я своей воли, крепостным умирать привелось.

Пришли домой. Старик первым делом заклятие со внука взял. Такое же, как с него отец брал. Одно прибавил:

— Коли на волю выйдешь, тогда как знаешь действуй. Этого сказать не умею.

Потом старик открыл свой сундучок заветный, а там у него всякая руда. Объяснил, где какую руду искать, коли не хватит, и то рассказал, от какой руды крепость прибавляется, от какой — гибкость. Однем словом, все по порядку, а дальше и говорит:

— Теперь мне этими делами заниматься не годится, беги за попом!

Внук так и сделал, а старик не задержался — в тот же вечер умер. Похоронили старика Швецова, а молодой на его место стал. Парень могутный, в полной силе, без подручного обходится, а сам по дедушкиной дорожке все вперед да вперед идет. Аносов тоже не без дела сидел. Он опять над тем бился, как лучше закалять поделку из швецовских плавок. Долго не выходило. Ну, попал-таки в точку. Заводский же кузнец надоумил. Вот тогда и вышел тот самый булат, коим наш завод на весь свет прославился. Аносов, может, и не заметил, что плавка-то уж после старика доведена. Все-таки слово свое не забыл, стал вольную хлопотать молодому мастеру Швецову. Не скоро дали, да еще Аносову пришлось сперва взять обещание, что ни на какой другой завод Швецов не пойдет. Тот, разумеется, такое обещание дал, а сам думает: какая-то воля особая, без выходу. Тут еще спотычка случилась.

Он, этот молодой Швецов, частенько по делу бывал у Аносова в доме. Аносов в ту пору уж семейный был. Детишки у него бегали. И была у них в услужении девушка Луша. С собой ее Аносовы привезли. Вот эта девушка и приглянулась Швецову. Домашние, понятно, отговаривали парня:

— В уме ли ты? Она поди-ка крепостная Аносовых. С чего они ее отдадут? Да и на что тебе нездешняя? Мало ли своих заводских девок?

Разговаривать о таком — все равно что воду неводом черпать. Сколько ни работай, толку не будет. Не родился, видно, еще мастер, который бы эту тайность понял, почему человека к этому тянет, а к другому нет. Не послушался Швецов своих семейных, сам свататься пошел. Аносов помялся и говорит:

— Это как барыня скажет, а я не могу.

Барыня поблизости случилась, услышала, зафыркала.

— Это еще что за выдумки! Чтоб я ему свою Лушу отдала? Да она у меня в приданое приведена. С девчонок мне служит, и дети к ней привыкли.— И на мужа накинулась: — Чему ты потворствуешь? Как он смеет к тебе с таким делом приходить?

Аносов объясняет: мастер, дескать, такой, он немалое дело сделал; только барыня свое:

— Что ж такое? Сталь сварил! Завтра другого поставишь, и он сварит. А Лушке я покажу, как парней приманивать!

Тут вот Швецов и понял, что и вольному коренную тайность для себя похранить надо. Он и хранил всю жизнь. А жизнь ему долгая досталась. Без малого не дотянул до пятого года. Много на его глазах прошло.

Аносов отстоял златоустовский булат от немецкой прихватки, будто они научили. В книжках до тонкости рассказал, как этому булату закалку вести. С той поры эта булатная сталь и прозванье получила — аносовская, а варил ее один мастер — Швецов.

Потом Аносовы уехали и Лушу с собой увезли. Говорили, что это немецкое начальство подстроило, но и Аносов себя не уронил: вскорости генеральский чин получил и томским губернатором сделался. А тут всем заводским немцам полная выгонка пришла, и Аносов будто в этом большую подмогу дал. Из старинных начальников про него больше всех заводские старики поминают, и всегда добрым словом.

— Каким он губернатором был, это нам неведомо, а по нашему заводу на редкость начальник был и много полезного сделал.

Аносов недолговеким оказался. При крепостной еще поре умер. Плетешок этот, что тайность с булатом он у кибиточного кузнеца выведал, при жизни Аносова начался. Тому, может, лестно показалось, как его расписывали, он и поддакнул: «Было дело, скупал старинное

оружие и на те базары ездил, где его больше достать можно». На эти слова и намотали всякой небылицы, и пуще всего немцы старались. После выгонки-то с завода им это до краю понадобилось. Ну, как же! На том заводе сколько годов сидели, а самую знаменитую сталь сварить не умеют. Немцы в тех разговорах и нашли отворотку.

— Мы,— говорят,— старинным оружием не занимались, а коли надо, так и лучше сварим.

И верно, стали делать ножи да сабли вроде наших златоустовских, по отделке-то. Только в таком деле с фальшью недалеко уедешь, немцам и пришлось в большой конфуз попасть.

Была, сказывают, выставка в какой-то не нашей стороне. Все народы работу свою показывали и оружие в том числе. Наш златоустовский булат такого места не миновал. А немцы рядом с нашим свою поделку поставили, да и хвалятся: «Наши лучше». Понятно, спор поднялся. Народу около того места со всей выставки набежало. Тогда наши выкатили станочек, на коем гибкость пробуют, поставили саблю вверх острием, захватили в зажим рукоятку и говорят:

— А ну, руби вашими по нашей. Поглядим, сколько ваших целыми останется!

Немцы увиливать стали, а нос кверху держат.

— Дикость какая! Тут поди не ярмарка, не базар, а выставка! Какая может быть проба? Повешено — гляди.

Тут, спасибо, другие народы ввязались, особливо из военного слою.

— При чем,— кричат,— ярмарка? Сталь не зеркало. В нее не глядеться! Русские дело говорят. Давай испытывать!

Выбрали от всех народов, какие тут были, по человеку в судьи, а на рубку доброволец нашелся. Вышел какой-то военный человек вроде барина, с сединой уж. Ростом не велик, а кряжист.

Подали этому чужестранному человеку немецкую саблю. Хватил он с расчетом концы испытать. Глядь, а у немецкой сабли кончика и не осталось.

— Подавай,— кричит,— другую! Эта не годится.

Подали другую. На этот раз приноровился серединки испробовать, и опять с первого же разу у немецкой сабли половина напрочь.

— Подавай,— кричит,— новую!

Подали третью. Эту направил так, чтобы сабли близко рукояток сошлись, а конец такой же: от немецкой сабли у него в руке одна рукоятка и осталась.

Все хохочут, кричат:

— Вот так немецкий булат! Дальше и пробовать не надо. Без судей всякому видно.

Наши все-таки настояли, чтобы до конца довели. Укрепили немецкую саблю в станок, и тот же человек стал по ней нашей златоустовской саблей рубить. Рубнул раз — кончика не стало, два — половины нет, три — одна рукоятка в станке, а на нашей сабельке и знаков нет. Тут все шумят, в ладоши хлопают, на разных языках вроде как «ура» кричат, а этот рубака вытащил кинжал старинной работы, с золотой насечкой, укрепил в станке и спрашивает:

— А можно мне по такому ударить?

Наши отвечают:

— Сделай милость, коли кинжала не жалко.

Он и хватил со всего плеча. И что ты думаешь? На кинжале зазубрина до самого перехвата, а наша сабелька какой была, такой и осталась. Тут еще натащили оружия, а толк один: либо напрочь наш булат то оружие рубит, либо около того. Тут рубака-то оглядел саблю, поцеловал ее, покрутил над головой и стал по-своему говорить что-то. Нашим перевели: он, дескать, в своей стороне самый знаменитый по оружию человек и накоплено у него множество всякого, а такого булату и видеть не приходилось. Нельзя ли эту саблю купить? Денег он не пожалеет. Наши, понятно, не поскупились.

— Прими,— говорят,— за труд памятку о нашем заводе. Хоть эту возьми, хоть другую выбери. У нас без обману. Один мастер варит, только в отделке различка есть.

Мастеру Швецову сказывали, как аносовский булат по всему свету гремит. Швецов посмеивался и работал, как смолоду, одиночкой. Тут, как у нас говорится, волю объявили: за усадьбы, за покос, за лесные делянки деньги потребовали. Швецову к той поре далеко за полсотни перевалило, а все еще в полной силе. Семью он, конечно, давно завел, да не задалось ему это. Видно, Маша не Луша, и ребята не те. Приглядывается мастер Швецов, как жизнь при новом положении пойдет, а хорошего не видит. Барская сила иструхла, зато деньги большую силу

взяли и жадность на них появилась. Мастерством не дорожат, лишь бы денег побольше добыть. В своей семье раздор из-за этого пошел. Который-то из сыновей перешел из литейной в объездные, говорит: тут дороже платят и сорвать можно. Швецов из-за этого даже от семьи отделился, ушел в малуху жить. Тут немцы полезли. Они хоть про степных кузнецов много рассказывали, а, видать, понимали, в каком месте тайность с булатной сталью искать. Подсылать стали к Швецову когда немцев, когда русских, а повадка у всех одна. Набросают на стол горку денег и говорят: «Деньги твои, тайность наша». Швецов только посмеивается:

— Кабы на эту горку петуха поставить, так он бы хоть закричал: караул! А мне что делать? Не красным же товаром торговать, коли я смолоду к мастерству прирос. Забирай-ка свое да убирайся с моего. Так и разделимся, чтоб другой раз не встретиться.

Прошло еще годов близко сорока, а все мастер Швецов булатную сталь варит. Остарел, понятно, подручные у него есть: да не может приглядеть надежного. Был один хороший паренек, да его в тюрьму загнали. Книжки, говорят, не те читал. Ходил старик по начальству, просил, чтоб похлопотали, так куда тебе, крик даже подняли:

— Вперед такого и говорить не смей!

Тут и самого старика изобидели: дедушкину еще росчисть* отобрали. Тебе, говорят, другой покос отведем. Росчисть не больно завидная, так и в доброе лето на одну коровенку сена поставит, только привык к ней старик с малых своих лет. Он и пошел опять по начальству хлопотать. Там и помянул: семь десятков лет на заводе работаю и не на каком-нибудь малом месте, а варю аносовский булат, про который всему свету известно. Да еще добавил: и мои поди капельки в том булате есть.

Начальство эти слова на смех подняло:

— Зря, дед, гордишься. Твоего в том деле одна привычка. Все остальное в книжках написано, да у нас в заводском секрете еще запись аносовская есть. Кто хочешь по ней эту сталь сварит.

Старика это вовсе задело. Прямо спросил:

— Неужели вы меня ни во что ставите?

— Во столько,— отвечают,— и ставим, сколько поденно получаешь.

— Коли так,— говорит Швецов,— варите по бумаге, а только аносовского булату вам больше не видать.

С тем и ушел. Начальство еще посмеялось:

— Вишь, разгорячился старикан. Тоже птица! Как о себе думает!

Потом хватились, конечно. Кого ни поставят на это место, а толку нет. Выходит, как говорится, дальняя родня, с которой век не видались, и прозванье другое.

Главный заводской начальник говорит:

— Послать за стариком!

А тот ответил:

— Неохота мне, да и ноги болят.

— Привезти на моей паре,— распорядился начальник, а сам посмеивается: — Пусть старик потешится.

У Швецова и на это свой ответ:

— Начальнику привычнее на лошадках кататься. Пусть сам ко мне приедет, тогда и поговорим.

Начальнику это низко показалось. Закричал, забегал.

— Чтоб я к нему на поклон поехал! Да кто он и кто я? Таких-то у меня по заводу тысячи, а я им буду кланяться! Никогда такого не дождется!

Начали опять пробовать. Бумаги снова перебрали. Сам начальник тут постоянно вертится, а все то же,— выходит сталь, да не на ту стать. А уж пошел разговор, что в Златоусте разучились булатную сталь варить. Начальник вовсе посмяк, стал подлаживаться к мастеру Швецову, пенсию ему хорошую назначил, сам пришел к старику, деньги большие сулит, а Швецов на это:

— Все-то у вас деньги да деньги! Да я этими деньгами мог бы весь угол завалить, кабы захотел. Только тайность моя коренная. Ее не продают, а добром отдают, только не всякому. Вот если выручишь из тюрьмы моего подручного, так будет он вам аносовский булат по-швецовски варить, а я вам не слуга.

Хлопотал ли начальник за этого парня, про то неизвестно, только Швецов так никому и не сказал свою тайность. Томился, сказывают, этим, а все-таки в заветном сундучке у него пусто оказалось, пыль даже выколотил, чтобы следов не осталось. Берег, значит, свою тайность от тех, кто его мастерство поденщиной мерил и работу его жизни ни во что ставил. Так и унес с собой тайну знаменитого булата, который аносовским назывался.

Обидно, может быть, а как осудишь старика? Наверняка бы ведь продали по тому времени. Вздохнешь только: «Эх, не дожил старик до настоящих своих дней!»

Ныне вон многие народы дивятся, какую силу показало в войне наше государство, а того не поймут, что советский человек теперь полностью раскрылся. Ему нет надобности свое самое дорогое в тайниках держать. Никто не боится, что его труд будет забыт либо не оценен в полную меру. Каждый и несет на пользу общую кто что умеет и знает. Вот и вышла сила, какой еще не бывало в мире. И тайны уральского булата эта сила найдет.

1945

ЖИВИНКА В ДЕЛЕ



Это еще мои старики сказывали. Годков-то, значит, порядком прошло. Ну, все-таки после крепости было.

Жил в те годы в нашем заводе Тимоха Малоручко. Прозванье такое ему на старости лет дали. На деле руки у него в полной исправности были. Как говорится, дай бог всякому. При таких руках на медведя с ножом ходить можно. И в остальном изъяну не замечалось: плечо широкое, грудь крутая, ноги дюжие, шею оглоблей не сразу согнешь. Таких людей по старине, как праздничным делом стенка на стенку ходили, звали стукачами: где стукнет, там и пролом. Самолучшие бойцы от этого Тимохи сторонились,— как бы он в азарт не вошел. Хорошо, что он на эти штуки не зарный был. Недаром, видно, слово молвлено: который силен, тот драчлив не живет.

По работе Тимоха вовсе емкий был, много поднимал и смекалку имел большую. Только покажи, живо переймет и не хуже тебя сделает.

По нашим местам ремесло, известно, разное.

Кто руду добывает, кто ее до дела доводит. Золото моют, платинешку выковыривают, бутовой да горновой

камень ломают, цветной выволакивают. Кто опять веселые галечки выискивает да в огранку пускает. Лесу валить да плавить приходится немалое число. Уголь тоже для заводского дела жгут, зверем промышляют, рыбой занимаются. Случалось и так, что в одной избе у печки ножи да вилки в узор разделывают, у окошка камень точат да шлифуют, а под полатями рогожи ткут. От хлебушка да скотинки тоже не отворачивались. Где гора дозволяла, там непременно либо покос, либо пашня. Однем словом, пестренькое дело, и ко всякому сноровка требуется, да еще и своя живинка полагается.

Про эту живинку и посейчас не все толком разумеют, а с Тимохой занятный случай в житье вышел. На примету людям.

Он, этот Тимоха,— то ли от молодого ума, то ли червоточина какая в мозгах завелась,— придумал всякое здешнее мастерство своей рукой опробовать да еще похваляется:

— В каждом до точки дойду.

Семейные и свои дружки-ровня стали отговаривать:

— Ни к чему это. Лучше одно знать до тонкости. Да и житья не хватит, чтобы всякое мастерство своей рукой изведать.

Тимоха на своем стоит, спорит да по-своему считает:

— На лесовала — две зимы, на сплавщика — две весны, на старателя — два лета, на рудобоя — год, на фабричное дело — годов десяток. А там пойдут углежоги да пахари, охотники да рыбаки. Это вроде забавы одолеть. К пожилым годам камешками заняться можно, али модельщиком каким поступить, либо в шорники на пожарной пристроиться. Сиди в тепле да крути колеско, фуганочком пофуркивай либо шильцем колупайся.

Старики, понятно, смеются:

— Не хвастай, голенастый! Сперва тело изведи.

Тимохе неймется.

— На всякое,— кричит,— дерево влезу и за вершинку подержусь.

Старики еще хотели его урезонить: вершинка, дескать, мера ненадежная: была вершинкой, а станет серединкой, да и разные они бывают — одна ниже, другая выше.

Только видят — не понимает парень. Отступились.

— Твое дело. Чур, на нас не пенять, что вовремя не отговорили.

Вот и стал Тимоха ремесла здешние своей рукой пробовать.

Парень ядреный, к работе усерден — кто такому откажет. Хоть лес валить, хоть руду дробить — милости просим. И к тонкому делу пропуск без отказу, потому — парень со смекалкой и пальцы у него не деревянные, а с большим понятием.

Много Тимоха перепробовал заводского мастерства и нигде, понимаешь, не оплошал. Не хуже людей у него выходило.

Женатый уж был, ребятишек полон угол с женой накопили, а своему обычаю не попускался. Дойдет до мастера по одному делу и сейчас же поступит в выученики по другому. Убыточно это, а терпел, будто так и надо. По заводу к этому привыкли, при встречах подшучивали:

— Ну как, Тимофей Иваныч, все еще в слесарях при механической ходишь али в шорники на пожарную подался?

Тимоха к этому без обиды. Отшучивается:

— Придет срок — ни одно ремесло наших рук не минует.

В эти годы Тимоха и объявил жене: хочу в углежоги податься. Жена чуть не в голос взвыла:

— Что ты, мужик! Неуж ничего хуже придумать не мог? Всю избу прокоптишь! Рубах у тебя недостираешься. Да и какое это дело! Чему тут учиться?

Это она, конечно, без понятия говорила. По нонешним временам, при печах-то, с этим попроще стало, а раньше, как уголь в кучах томили, вовсе мудреное это дело было. Иной всю жизнь колотится, а до настоящего сорта уголь довести не может. Домашние поварчивают:

— Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не дает, а все у него трухляк да мертвяк выходит. У соседей вон песенки попевают, а уголь звон звоном. Ни недогару, ни перегару у них нет и квелого самая малость.

Сколько ни причитала Тимохина жена, уговорить не могла. В одном обнадежил:

— Недолго поди-ко замазанным ходить буду.

Тимоха, конечно, цену себе знал. И как случится ремесло менять, первым делом о том заботился, чтоб было у кого поучиться. Выбирал, значит, мастера.

По угольному делу тогда на большой славе считался дедушка Нефед. Лучше всех уголь доводил. Так и назывался — нефедовский уголь. В сараях этот уголек отдельно ссыпали. На самую тонкую работу выдача была.

К этому дедушке Нефеду Тимоха и заявился. Тот, конечно, про Тимохино чудачество слыхал и говорит:

— Принять в выученики могу, без утайки все показывать стану, только с уговором. От меня тогда уйдешь, как лучше моего уголь доводить навыкнешь.

Тимоха понадеялся на свою удачливость и говорит:

— Даю в том крепкое слово.

На этом, значит, порешили и вскорости в курень поехали.

Дедушка Нефед — он, видишь, из таких был... обо всяком деле думал, как его лучше сделать. На что просто чурак на плахи расколоть, а у него и тут разговор:

— Гляди-ко! Сила у меня стариковская, совсем на исходе, а колю не хуже твоего. Почему, думаешь, так-то?

Тимоха отвечает: топор направлен и рука привычная.

— Не в одном,— отвечает,— топоре да привычке тут дело, а я ловкие точечки выискиваю.

Тимоха тоже стал эти ловкие точечки искать.

Дедушка Нефед все объясняет по совести, да и то видит — правда в Нефедовых словах есть, да и самому забавно. Иной чурак так разлетится, что любо станет, а думка все же останется: может, еще бы лучше по другой точечке стукнуть.

Так Тимоха сперва на эти ловкие точечки и поймался.

Как стали плахи в кучи устанавливать, дело вовсе хитрое пошло. Мало того что всякое дерево по-своему ставить доводится, а и с одним деревом случаев не сосчитаешь. С мокрого места сосна — один наклон, с сухого — другой. Раньше рублена — так, позже — иначе. Потолще плахи — продухи такие, пожиже — другие, жердевому расколу — особо. Вот и разбирайся. И в засыпке землей тоже.

Дедушка Нефед все это объясняет по совести,— да и то вспоминает, у кого чему научился.

— Охотник один научил к дымку принюхиваться. Они — охотники-то — на это дошлые. А польза сказалась. Как учую — кислым потянуло, сейчас тягу посильнее пущу. Оно и ладно.

Набеглая женщина надоумила. Остановилась как-то



около кучи погреться, да и говорит: «С этого боку жарче горит».

— Как,— спрашиваю,— узнала?

— А вот обойди,— говорит,— кругом,— сам почуешь.

Обошел я, чую — верно сказала. Ну, подсыпку сделал, поправил дело. С той поры этого бабьего совету никогда не забываю. Она, по бабьему положению, весь век у печки толкошится, привычку имеет жар разбирать.

Рассказывает так-то, а сам нет-нет про живинку напомнит:

— По этим вот ходочкам в полных потемочках наша живинка-паленушка и поскакивает, а ты угадывай, чтоб она огневкой не перекинулась либо пустодымкой не обернулась. Чуть не доглядел — либо перегар, либо недогар будет. А коли все дорожки ловко улажены, уголь выйдет звон звоном.

Тимохе все это любопытно. Видит — дело не простое, попотеть придется, а про живинку все-таки не думает.

Уголь у них с дедушкой Нефедом, конечно, первосортный выходил, а все же как станут разбирать угольные кучи, одна в одну никогда не придется.

— А почему так? — спрашивает дедушка Нефед, а Тимоха и сам это же думает: в каком месте оплошку сделал?

Научился Тимоха и один всю работу доводить. Не раз случалось, что уголь у него и лучше Нефедова бывал, а все-таки это ремесло не бросил. Старик посмеивается:

— Теперь, брат, никуда не уйдешь: поймала тебя живинка, до смерти не отпустит.

Тимоха и сам дивился — почему раньше такого с ним никогда не случалось.

— А потому,— объясняет дедушка Нефед,— что ты книзу глядел, на то, значит, что сделано; а как кверху поглядел — как лучше делать надо, тут живинка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть, впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг!

По этому слову и вышло. Остался Тимоха углежогом, да еще и прозвище себе придумал. Он, видишь, любил молодых наставлять и все про себя рассказывал, как он хотел смолоду все ремесла одолеть, да в углежогах застрял.

— Никак,— говорит,— не могу в своем деле живинку поймать. Шустрая она у нас. Руки, понимаешь, малы.

А сам ручинами-то своими разводит. Людям, понятно, смех. Вот Тимоху и прозвали Малоручком. В шутку, конечно, а так мужик вовсе на доброй славе по заводу был.

Как дедушка Нефед умер, так Малоручков уголь в первых стал. Тоже его отдельно в сараях ссыпали. Прямо сказать, мастер в своем деле был.

Его-то внуки-правнуки посейчас в наших местах живут... Тоже которые живинку — всяк на своем деле — ищут, только на руки не жалуются. Понимают поди-ко, что наукой можно человечьи руки нарóстить выше облака.

1943

ВАСИНА ГОРА



Ровным-то местом мы тут не больно богаты. Все у нас горы да ложки, ложки да горы. Не обойдешь их, не объедешь. Гора, конечно, горе рознь. Иную никто и в примету не берет, а другую не то что в своей округе, а и дальние люди знают: на слуху она, на славе.

Одна такая гора у самого нашего завода пришлась. Сперва с версту, а то и больше такой тянигуж, что и крепкая лошадка и налегке идет, и та в мыле, а дальше еще надо взлобышек одолеть, вроде гребешка самого трудного подъему. Что говорить, приметная горка. Раз пройдешь либо проедешь, надолго запомнишь и другим сказывать станешь.

По самому гребню этой горы проходила грань: кончался наш заводский выгон и начиналась казенная лесная дача*. Тут, ясное дело, загородка была поставлена и проездные ворота имелись. Только эти ворота — одна видимость. По старому трактовому положению их и на минуту запереть было нельзя. Железных дорог в ту пору по

здешним краям не было, и по главному Сибирскому тракту шли и ехали, можно сказать, без передышки днем и ночью.

Скотину в ту сторону пустить хуже всего, потому — сразу от загородки шел вековой ельник, самое глухое место. Какая коровенка либо овечка проберется — не найдешь ее, а скаты не зря звались Волчьими падями. Зимами и люди мимо них с опаской ходили, даром что рядом Сибирский тракт гудел.

Сторожить у проездных ворот в таком месте не всякому доверишь. Надежный человек требуется. Наши общественники долго такого искали. Ну, нашли все-таки. Из служилых был, Василием звали, а как по отчеству да по прозванью — не знаю. Из здешних родом. В молодых годах его на военную службу взяли, да он скоро отвоевался: пришел домой на деревяшке.

Близких родных, видно, у этого Василия не было. Свою семью не завел. Так и жил бобылем в своей избушке, а она как раз в той стороне, где эта самая гора. Пенсион солдатский по старому положению в копейках на год считался, на хлеб не хватало, а кормиться чем-то надо. Василий и приспособился, по-нашему говорится, к сидячему ремеслу: чеботарил по малости, хомуты тоже поправлял, корзинки на продажу плел, разную мелочь ко кроснам* налаживал. Работа все копеечная, не разживешься с такой. Василий хоть не жаловался, а всем видно было — бьется мужик. Тогда общественники и говорят:

— Чем тебе тут сидеть, переходи-ка в избушку при проездных воротах на горе. Приплачивать будем за караул.

— Почему,— отвечает,— миру не послужить? Только мне на деревяге не больно способно скотину отгонять. Коли какого мальчонку в подручные ставить будете, так и разговору конец.

Общественники согласились, и вскоре этот служивый перебрался в избушку при проездных воротах. Избушка, понятно, маленькая, полевая, да много ли бобылю надо: печурку, чтоб похлебку либо кашу сварить, нары для спанья да место под окошком, где чеботарскую седулку поставить. Василий и прижился тут на долгие годы. Сперва его дядей Васей звали, потом стал дед Василий. И за горой его имя укоренилось. Не то что наши заводские, а и чужедальние, кому часто приходилось ездить

либо с обозами ходить по Сибирскому тракту знали Васину гору. Многие проезжающие знали и самого старика. Иной раз покупали у него разную мелочь, подшучивали:

— Ты бы, дед, хоть по вершку в год гору снимал, все-таки легче бы стало.

Дед на это одно говорил:

— Не снимать, а наращивать бы надо, потому эта гора человеку на пользу.

Проезжающие начинают доспрашиваться, почему так, а дед Василий эти разговоры отводил:

— Поедешь дальше, дела-то в дороге немного, ты и подумай.

Подручных ребятишек у деда Василия перебывало много. Поставят какого-нибудь мальчонку-десятилетка из сироток, он и ходит при этом деле год либо два, пока не подрастет для другой работы, а дальше к деду Васе другого нарядят. А ведь годы-то наши, как вешний ручей с горы, бегут, крутятся, что и глазом не уследишь. Через десяток годов, глядишь, первый подручный сам семьей обзавелся, а через другой десяток у него свои парнишки в подручные к деду Василию поспели. Так и накопилось в нашем заводе этаких выучеников Васиной горы не один десяток. Разных, понятно, лет. Одни еще вовсе молодые, другие настоящие взрослые, в самой поре, а были и такие, что до седых волос уж дотянулись, а примета у всех у них одна: на работу не боязливы и при трудном случае руками не разводят. Да еще приметили, что эти люди норовят своих ребятишек хоть на один год к деду Василию в подручные определить, и не от сиротства либо каких недостатков, а при полной даже хозяйственности. Случалось, перекорялись из-за этого один с другим: моя очередь, твой-то парнишка годик и подождать может, а моему самая пора.

Люди, конечно, любопытствовали, в чем тут штука, а эти выученики Васиной горы и не таились. В досужий час сами любили порассказать, как они в подручных у деда Василия ходили и чему научились.

Всяк, понятно, говорил своим словом, а на одно выходило.

Место у проездных ворот на Васиной горе вовсе хлопотливое было. Не то что за скотом, а и за обозниками доглядывать требовалось: на большой дороге, известно,

без баловства не проходит. Иной обозник где-нибудь на выезде из завода прихватит барашка, да и ведет его потихоньку за своим возом. Забивать, конечно, опасались, потому тогда и до смертного случаю достукаться можно. Наши заводские тоже ведь на большой дороге выросли, им в таком разе обозников щадить не доводилось. С живым бараном куда легче. Всегда отговориться было можно: подобрали приблудного, сам увязался за хлебушком, видно,— отогнать не можем. А отдашь, и вовсе люди вязаться не станут, поругаются только вдогонку да погрозят. Караулу, выходит, крепко посматривать надо было.

Ну, все-таки сколь ни беспокойно было при этих проездных воротах, а досуг тоже был. Старик в такие часы за работой своей сидел, а подручному мальчонке что делать? Отлучаться в лес либо на сторону старик не дозволял. Известно, солдатская косточка, приучен к службе. С караула разве можно? Строго на этот счет у него было. Парнишке, значит, в такие досужие часы одна забава оставалась — на прохожих да на проезжих глядеть. А тракт в том месте как по линейке вытянулся. С вершины в ту и другую сторону далеко видно, кто подымается, кто спускается. Поглядит этак, поглядит мальчонка, да и спрашивает у старика:

— Дедо, я вот что приметил. Подымется человек на нашу гору хоть с этой стороны и непременно оглянется, а дальше разница выходит. Один, будто и силы небольшой и на возрасте, пойдет вперед веселехонек, как в живой воде искупался, а другой — случается, по виду могутный — вдруг голову повесит и под гору плетется, как ушиб его кто. Почему такое?

Дед Василий и говорит:

— А ты сам спроси у них, чего они позади себя ищут, тогда и узнаешь.

Мальчонка так и делает, начинает у прохожих спрашивать, зачем они на перевале горы оглядываются. Иной, понятно, и цыкнет, а другие отвечали честь честью. Только вот диво — ответы тоже на два конца. Те, кто идет дальше веселым, говорят:

— Ну как не поглядеть. Экую гору одолел, дальше и бояться нечего. Все одолею. Потому и весело мне.

Другие опять стонут:

— Вон на какую гору взобрался, самая бы пора отдохнуть, а еще идти надо.



Эти вот и плетутся, как связанные, смотреть на них тошно.

Расскажет мальчонка про эти разговоры старику, а тот и объясняет:

— Вот видишь,— гора-то на дороге силу людскую показывает. Иной по ровному месту, может, весь свой век пройдет, а так своей силы и не узнает. А как случится ему на гору подняться вроде нашей, с гребешком, да поглядит он назад, тогда и поймет, что он сделать может. От этого, глядишь, такому человеку в работе подмога и жить веселее. Ну, и слабого человека гора в полную меру показывает: трухляк, дескать, кислая кошма*, на подметки не годится.

Мальчонке, понятно, неохота в трухляки попасть, он и хвалится:

— Дедо, я на эту гору ежедень бегом подыматься стану. Вот погляди.

Старик посмеивается:

— Ну что ж, худого в этом нет. Может, и пригодится когда. Только то помни, что не всякая гора наружу выходит. Главная гора — работа. Коли ее пугаться не станешь, то вовсе ладно будет.

Так вот и учил дедушка Василий своих подручных, а те своим ребятишкам это передали. И до того это в наших местах укоренилось, что Васина гора силу человека показывает, что парни нарочно туда бегали, подкарауливали своих невест. Узнают, скажем, что девки ушли за гору по ягоды либо по грибы, ну и ждут, чтобы посмотреть на свою невесту на самом гребешке: то ли она голову повесит, то ли песню запоет.

Невесты тоже в долгу не оставались. Каждая при ловком случае старалась поглядеть, как ее суженый себя покажет на гребешке Васиной горы.

И сейчас у нас эта гора не забыта. Часто ее поминают. И не для рассказа про старое, а прямо к теперешнему прикладывают:

— Вот война-то была. Это такая гора, что и поглядеть страшно, а ведь одолели. Сами не знали, что в народе столько силы найдется, а гора показала. Как новый широкий путь открыла. Коли такое сделали, то и дальше никакая гора на дороге не остановит наш народ.

1946

РУДЯНОЙ ПЕРЕВАЛ



Будто и недавно было, а стань считать, набежит близко шести десятков, как привелось мне в первый раз услышать про этот рудяной перевал. Разговор вроде и маловажный, а запомнился накрепко. А теперь вот, как подальше на земле потоптался, вижу: не вовсе зря говорилось. Пожалуй, и нынешним молодым послушать это не в забаву.

Родитель мой из забойщиков был. На казенном руднике с молодых лет руду долбил. Неподалеку от нашего завода тот рудник. Не больше семи верст по старой мере считалось. Тятя на неделе не по одному разу домой ночевать прибегал, а в субботу вечером и весь воскресный день непременно дома.

Жили мы в ту пору не похвалюсь, что вовсе хорошо, а все-таки лучше многих соседей. Так подошлось, что в нашей семье работники с едоками чуть не выравнялись. Отец еще не старый, мать в его же годах. Тоже в полной силе. А старший брат уж женился и в листобойном работу имел. Братова жена — не любил я ее за ехидство, не тем будь помянута покойница,— без дела сидеть не умела. Работница — не похаешь. Не в полных годах мы с сестренкой были. Ей четырнадцать стукнуло. Самая та пора, чтоб с малыми ребятами водиться. Ее в семье так нянькой и звали. Мне двенадцатый шел. Таких парнишек в нашей бытности величали малой подмогой. Не велика, понятно, подмога, а все-таки не один рот, сколько-то и руки значили: то, другое сделать могли, а ноги на посылках лучше, чем у больших. Голых-то едоков у нас было только двое братовых ребятишек. Один грудной, а другой уж ходить стал.

При таком-то положении, ясное дело, семья отдышку получила, да не больно надолго. Мамоньке нашей нежданная боль прикинулась. Кто говорил, ногу она наколола, кто опять сказывал, будто какой-то конский волос впился, как она на пруду рубахи полоскала, а только нога сразу посинела, и мамоньку в жар бросило прямо до беспамятства. Фельдшер заводский говорил, отнять надо ногу, а то смерть неминучая. По-теперешнему, может, так

бы и сделали, а тогда ведь в потемках жили. Соседские старушонки в один голос твердили:

— Не слушай-ка, Парфеновна, фельдшера. Им ведь за то и деньги платят, чтоб резать. Рады человека изувечить. А ты подумай, как без ноги жить. Пошли лучше за Бабанихой. Она тебе в пять либо десять бань всякую боль выгонит. С большим понятием старуха.

Герасим с Авдотьей — это большак-то с женой — хоть молодые, а к этому старушечьему разговору склонились. Нас с сестренкой никто и спрашивать не подумал, да и что бы мы сказали, когда оба не в полных годах были.

Ну, пришла эта Бабаниха, занялась лечить, а через сутки мамонька умерла. И так это вкруте* обернулось, что отец прибежал с рудника, как она уж часовать* стала. В большой обиде на нас родитель остался, что за ним раньше не прибежали.

Похоронили мы мамоньку, и вся наша жизнь вразвал пошла. Тятя, не в пример прочим рудничным, на вино воздержанный был и тут себе ослабы не дал, только домой стал ходить редко. В субботу когда прибежит, а в воскресенье, как еще все спят, утянется на рудник. Раз вот так пришел, попарился в бане и говорит брату:

— Вот что, Герасим! Тоскливо мне в своей избе стало. В рудничной казарме будто повеселее маленько, потому — там на людях. Правьтесь* уж вы с Авдотьей как умеете, а мне домой ходить — только себя расстраивать. Из своих получек буду вам помогать, а вы здесь моих ребят не обижайте.

Тут надо сказать, что Авдотья после мамонькиной смерти частенько на меня взъедаться стала: то ей неладно, другим не угодил. Да еще на меня же и жалуется, а тятя меня строжит.

Мне такое слушать надоело. Я, как этот разговор при мне был, и говорю:

— Возьми меня, тятя, с собой на рудник!

Родитель оглядел меня, будто давно не видывал, подумал маленько и говорит:

— Ладное слово сказал. Так-то, может, и лучше. Парнишка уж не маленький. Чем по улице собак гонять да с Авдотьей ссориться, там хоть к рудничному делу приобыкнешь.

Так я по двенадцатому году и попал на рудник, да и приобык к этому делу, надо думать, до могилы. Седьмой

десяток вот доходит, а я, сам видишь, хоть на стариковской работе, а при руднике. Смолоду сходил только в военную, отсчитал восемь годочков на персидской границе, погрелся на тамошнем солнышке и опять под землю прохлаждаться пошел. В гражданскую тоже года два под ружьем был, пока колчаковцев из наших мест не вытурили, а остальные годы всё на рудниках. В разных, понятно, местах, а ремесло тятино — забойщик. По-старому умею и по-новому знаю. Как перфораторные молотки пошли, так мне первому директор эту машину доверил:

— Получай, Иваныч! Покажи, что старые забойщики от нового не чураются.

И что ты думаешь? Доказал! В газете про меня печатали. Да я теперь, хоть по старости от забоя отстранен, все новенькое, не беспокойся, понимаю: как, скажем, с врубовкой* обходиться, как кровлю обрушить по-новому, чтобы сразу руду вагонами добывать. Да и как без этого, коли тут мое коренное ремесло, по наследству от родителя досталось. Одна у нас с тятей забота была: как бы побольше из горы добыть — себе заработать и людям полезное дать. А насчет того, что наши горы оскудеть могут, у меня и думки не бывало. С первых годов, как в рудничную казарму попал, понял это. По-ребячьи будто, а подумаешь, так тут и от правды немалая часть найдется.

Чтобы это понятнее было, сперва о старых порядках маленько расскажу.

Про нынешних шахтеров вон говорят, что чище их никто не ходит, потому — каждый день, как из шахты, так и в баню. А раньше не так велось. На три казармы была одна банешка, но топили ее только по субботам да накануне больших праздников. В будни, дескать, и без этого проживут. Да и банешка была вроде тех, какие при каждом хозяйстве по огородам ставили. Чуть разве побольше. Человек тридцать, от силы пятьдесят, в вечер перемыться могут. Поневоле людям приходилось на стороне где-то баню искать.

Об еде́ для рудничных у начальства тоже заботушки не было. Кормитесь сами, как кому причтется. Не то что столовой, а и провиянтского амбара сами не держали и торгашей не допускали. Даже кабатчикам дороги не было. Боялись, надо думать, что тогда золото больше будет утекать к тайным купцам.

В рудничной казарме тоже сладкого немного было. С нынешними общежитиями небось не сравнишь. Кроватей либо там тумбочек да цветочков никто тебе не наготовил, плакатов да портретов тоже не развешали и об уборке не заботились. Казарменный дедко на этот счет так говорил:

— Мое дело печи зимами топить, баню по субботам готовить да присматривать, чтоб кто вашим чем не покорыстовался, а чистоту самосильно наводите.

Ну, самосильно и наводили: свой сор соседям отгребали, а те наоборот. Как вовсе невтерпеж станет, примутся все казарму подметать. Чистоты от этого мало прибавлялось, а пыли густо. Казарма, видишь, вроде большого сарая. Из бревен все-таки, и пол деревянный, потому — места у нас лесные, недорого дерево стоит. В сарае нары в два ряда и три больших печи с очагами. Над очагами веревки, чтоб онучи* сушить. Как все-то развешают, столь ядреный душок пойдет, что теперь вспомнишь, и то мутит. Ну, зимами тепло было. Дедко казарменный не ленился печи топить, а в случае и сами подбрасывали. На дрова рудничное начальство не скупилось. Всегда запас дров был. Теплом-то, может, они людей и держали. По моей примете, немалое это дело — тепло-то. Придут вечером с работы — смотреть тошно. Что измазаны да промокли до нитки — это еще полгоря. Хуже, что за день всяк измотался на крепкой породе до краю. Того и гляди, свалится. А разуются, разболокутся*, сполоснут руки у рукомойника — сразу повеселеют, а похлебают горяченького либо хоть всухомятку пожуются — и вовсе отойдут. Без шуток-прибауток да разговоров разных спать не лягут. Конечно, и пустяковины всякой нагородят, что малолеткам и слушать не годится. Только и занятного много бывало. Если бы все это записать, так не одна бы, я думаю, книга вышла. А любопытнее всего приходилось вечерами по субботам да по воскресеньям с утра, пока из завода не прибегут с кабацким зельем.

Тут, видишь, в чем разница была. В каждой казарме жило человек по сту, а то и больше. Добрая половина из них заводские. Эти не то что на праздники да воскресные дни, а и по будням, случалось, домой бегали. Пришлые, которые из дальних мест, тоже не привязаны сидели. Каждому надо было себе провиянту на неделю запасти, кому, может, надобность была золотишко смотнуть да

испировать, дружков навестить. В субботу, глядишь, как подымутся из шахты, все и разбегутся. В казарме останется человек десяток — полтора. Эти в баню сходят, попарятся и займутся всяк своим делом. Накопится за неделю-то. Кому надо рубахи в корыте перебрать, кому подметку подбить, латку поставить, пуговку пришить. Да мало ли найдется! Вот и сидят в казарме либо, когда погода дозволяет, кучатся у крылечка. Без разговору в таком разе не обходилось. Судили о чем придется: про рудничные дела, про свое житейское. Иной раскошелится, так всю свою жизнь расскажет, а кто и сказку разведет. Вечерами, как из завода винишка притащат, шумовато бывало. Порой и до драки доходило, а до того все трезвые и разговор спокойный. Малолетков оберегали: за зряшные слова оговаривали.

Один вот такой разговор мне и запомнился.

В нашей казарме в числе прочих был рудобой Оноха. Работник из самых средственных. Как говорится, ни похвалить, ни похаять. Одна у него отличка была: заботился, чем внуки-правнуки жить будут, как тут леса повырубят, рыбу повыловят, дикого зверя перебьют и все богатство из земли добудут. Сам еще вовсе молодой, а вот привязалась к нему эта забота. Его, понятно, уговаривали, а ему все неймется. По такой дурнинке ему кличку дали Оноха Пустоглазко. Он из наших заводских был и на праздники всегда домой бегал, а тут каким-то случаем остался. Ногу, должно, зашиб. Без того Оноха не мог, чтоб про свое не поговорить. Он и принялся скулить: старики, дескать, комьями золото собирали, нам крупинки оставили, а что будет, как мы это остатнее выберем.

При разговоре случился старичок из соседней казармы. Забыл его прозванье. Не то Квасков, не то Бражкин. От питейного как-то. Оно ему и подходило, потому как слабость имел. Из-за этого и в рудничную казарму попал. Раньше-то, сказывали, штейгером* был, сам другим указывал, да сплоховал в чем-то перед хозяевами, его и перевели в простые рудобои. При крепостной поре это было — не откажешься, что велели, то и делай. Только и потом, как крепость отпала, он в том же званье остался. Видно, что мое же дело — привык к одному. Куда от него уйдешь? Рудничное начальство не больно старика жаловало, а все-таки от работы не отказывало, видело: практикованный человек, полезный. А рудничные рабочие

уважали, первым человеком по жильному золоту считали и в случае какой заминки — нежданный пласт, скажем, подойдет либо жила завихляет — всегда советовались со стариком.

Этот дедушка Квасков долго слушал Онохино плетенье, потом и говорит:

— Эх, Оноха, Оноха, пустое твое око! Правильное тебе прозванье дали. Видишь, как дерево валят, а того не замечаешь, что на его месте десяток молоденьких подымается. Из них ведь и шест, и жердь, и бревно будет. Про рыбу и говорить не надо. Кабы ее не ловить, так она от тесноты задыхаться бы в наших прудах стала. А дикого зверя выбьют, кому от того горе? Больше скота сохранится.

Оноха, понятно, не сдает.

— Ты,— спрашивает,— лучше скажи: откуда земельное богатство возьмется, когда мы это все выберем? Тоже вырастет?

— На это,— отвечает,— скажу, что понятие твое о земельном богатстве хуже, чем у малого ребенка. Да еще выдумываешь, чего сроду не бывало.

Оноха в задор пошел:

— А ты докажи, что я выдумал! Ну-ка, докажи!

— Что,— отвечает,— тут доказывать, коли просто рассказать могу и свидетелей поставить. Говоришь вот, что старики комьями золото добывали, а я на сорок годов раньше твоего к этому делу пришел, так сам видел эту добычу. Комышки в верховых пластах, верно, бывали, а на месяц все-таки сдача фунтами считалась, а мы теперь пудами сдаем. Про нынешнюю сдачу все вы сами знаете, а про старую спросите у любого старика, который к этому делу касался. Всяк скажет, что и я: фунтами сдачу считали. Редкость, когда за пуд выбежит.

Онохе податься некуда, а все за свое держится:

— Нет, ты скажи, что добывать будут, как мы эти твои пуды выберем.

— Сотнями, может, пудов месячную добычу считать станут.

— В котором это месте?

— Может, в этом самом. Видал, главная жила вглубь пошла? Мы за ней спуститься боимся: с водой и теперь не пособились. Ну, а придумают водоотлив половчей, тогда и подойдут вглубь, как по большой дороге.

— Когда еще такое будет!..— посомневался Оноха.

— Это,— отвечает,— сказать не берусь, а только на моих памятях в рудничном деле большая перемена случилась. Вспомнишь, так себе не веришь. Застал еще то время, как породу черемухой долбили. Лом такой был. Пудов на пятнадцать весом. Чтоб не одному браться, у него в ручке развилки были. Вот этакой штукой и долбили. Потом порохом рвать стали, а теперь, сам знаешь, динамитом расшибаем. Несравнимо с черемухой-то. Велика ли штука насос-подергуша, а и тот не везде был. На малых работах бадьей воду откачивали. Вот и сообрази, сколь податно у стариков работа шла. Только тем и выкрывались, что когда комышек найдут. Не столь работой, сколь удачей брали. Да и много ли они мест знали!

Тут дед Квасков стал рассказывать, сколько на его памятях открыли новых приисков и рудников, потом и говорит:

— И то помнить надо, что земельное богатство по-разному считается: что человеку больше надобно, то и дороже. Давно ли платину ни за что считали, а ныне за нее в первую голову ловятся. Такое же может и с другим случиться. Если дедовские отвалы перебрать, так много полезного найдем, а внуки станут наши перебирать и подивятся, что мы самое дорогое в отброс пускали.

— Сказал тоже! — ворчит Оноха.

— Сказал, да не зря. Про платину я уж тебе говорил, а про порошок, какой знающие при варке стали подсыпают, как думаешь? На мое понятие, он много дороже золота и платины, потому — для большого дела идет, и редко кто знает, где его искать, а он, может, вот в этом голубеньком камешке. Вот и выходит, что земельное богатство не от горы, а от человека считать надо: до чего люди дойдут, то и в горе найдут. И не в одном каком месте, а в разных да в каждом с особинкой, потому — рудяной перевал не одной силы бывает и по-разному закручивает.

Оноха и привязался к этому слову:

— Какой такой рудяной перевал? Не малые дети мы, чтоб твои сказки слушать. Выдумываешь вовсе несуразное!

— Нет,— отвечает,— не выдумка, а могу на деле тебе показать. Возьмем, скажем, наши отвалы. Думаешь, так



они навек голым камнем и останутся? Как бы не так! Забрось-ка их на много лет, так и места не признаешь. В ту вон субботу зашел я к сестре — за покойным Афоней Макаровым была, по Новой улице у них избушка. Сидим, разговариваем с сестрой... В это время прибежали из лесу две ее внучки, девчонки-подлетки, и хвалятся:

— Гляди, бабушка, полнехонька корзинка княженики!

Потом у меня спрашивают:

— Что это за место такое? В густом лесу набежали мы на горушку. Тоже вся лесом заросла, только лес помоложе. И до того эта горушка крутая, что подняться трудно. Стали обходить и видим: в одном месте как проход сделан и там полянка круглая. Горушкой она, как кольцом, опоясана и вся усеяна княженикой.

По приметам я хоть понял, в котором это месте, а все-таки на другой день сходил, не поленился поглядеть эту горушку. Так и оказалось, как думал,— Климовский это рудник. Когда я еще парнишкой был, там тоже жильное золото добывали, шахта глубокая считалась, а отвалы — чистая галька. А тут, гляжу, откуда-то на отвалах земля взялась и лес вырос. Ровнячок сосна. Жердник уж перешла, до полного бревна не дотянулась, а на мелкую постройку рубить можно. Шахта, конечно, сверху забросана была жердником да чащей, чтобы какая скотина не завалилась, а никакого завала не видно. Все накрепко задернело, только в том месте, где шахта, бугорок маленький. Кто не знал про старый рудник, тот не подумает, что под полянкой шахта глубиной сажен на тридцать. И на всей этой полянке княженика, а кругом нигде этой ягоды не найдешь. Вот и отгадай загадку, кто ее тут посеял и почему она на этом месте привилась? А по-моему, земля тут оказалась не такая, как за горушкой. Ну, а стань копаться в этих отвалах, наверняка найдешь такое, чего раньше в помине не бывало. Известно, в одном месте водой вымыло, ветром выдуло, в другом опять комом намыло, да нанесло, где песок в камень сжало, где, наоборот, камень в песок раздавило. Выходит, было одно, стало другое, а которое дороже, об этом те рассудят, кому после нас это место перебирать доведется.

Только это верховой перевал. Его всякому, кто поохотится, можно поглядеть. А есть низовой перевал...

Тут Оноха руками замахал: «Что еще скажешь! Слушать неохота!» — и убежал.

Все, которые тут сидели, посмеялись:

— Беги-ка, беги, раз в угол тебя дедко загнал! А ты, дедушка, рассказывай. Любопытно.

— Да тут,— говорит,— и рассказывать-то мало осталось. Слыхали небось про сады Хозяйки горы, как там деревья меняются. Было синее, стало красное; было желтое, стало зеленое. Это хоть сказка, да не зря сложена. Пустоглазко, может, этого не разберет, а кто правильно глядит, тот и сам заметит, если ему случилось в горе немало годов поворочать. Скажем, на нашем руднике жила идет большим ручьем, а вдруг на ней пересечка. Откуда она взялась? И почему в пересечках разное находят? По этим пересечкам и видно, что земля не вовсе угомонилась. В ней передвижка бывает. Рудяной перевал называется. После такого перевала, сказывают, в горе такое окажется, чего раньше не добывали. На старом вон руднике про такой случай старики рассказывали. Обвалилась штольня, а в конце-то люди были по забоям. Три человека. При крепостном положении, известно, не больно о человеке тужили. Воля, дескать, божья, и откапывать не стали, а эти люди на другой день сами вышли и вовсе не там, где рудничные работы велись. Так вот эти люди рассказывали, что видели этот рудяной перевал.

Сперва, как обвал случился, кинулись откапываться. Им ведь неизвестно было, что вся штольня завалилась. Ну, и намахались и чуют, дыханье спирать стало. Тут они поняли, что дело вовсе плохо, конец пришел. Пригорюнились, конечно: всякому ведь умирать неохота. Сидят, руки опустили, а дыханье вовсе спирать стало. Вдруг видят: в одной стороне запосверкивало, и огоньки разные — желтый, зеленый, красный, синий. Потом все они смешались, как радуга стала, только не дугой, а вроде прямой просеки в гору. С час они на эту подземную радугу глядели, а как стемнело, сразу почуяли, что дыханье облегчило. Рудобои привычные были, смекнули, что щель на волю открылась. Дай, думают, попытаем, нельзя ли и самим выбраться. Пошли. Щель вовсе широкая оказалась и много выше человеческого роста. Дорожка, конечно, не больно гладкая, а все-таки вышли по ней в лес, почитай, в версте от рудника.

Рудничное начальство, как узнало об этом, первым делом занялось посмотреть, нет ли чего нового в этой щели. Оказалось, в тех же породах много сурьмяной руды,

а ее до той поры на руднике никогда не добывали. Вот и смекай, к чему подземная радуга привела.

На этом разговор и кончился.

Из завода трое выпивших пришли, вина с собой притащили, угощать старика стали:

— Дедко, уважь! Выкушай от меня стаканчик!

Старик на это слабость имел, и речи другие пошли. Оноха и после этого разговора вздыхать не перестал. В ненастье, видно, родился,— не проняло его.

Только теперь, как начнет своим обычаем приставывать, ему кто-нибудь непременно напомнит:

— Ты лучше скажи, как от дедушки Кваскова бегом убежал.

Оноха сердился, кричал:

— Нашли кого слушать! Самые пустые его речи!

Ну, а мне и другим этот разговор дедушки Кваскова в наученье пошел. Теперь, как погляжу да послушаю, что у нас добывать стали, вспоминаю об этом разговоре. Насчет подземной радуги сомневаюсь. Может, она померещилась людям, как они задыхаться стали. А насчет остального правильно старик говорил. Сам вижу, что внукам и то понадобилось, на что мы вовсе не глядели. Недавно вон мой дружок-горщик хвалился кварцевой галькой со слабым просветом. Пьезо-кварц называется. Дорогой, говорит, камешек, для радио требуется. А я помню, тачками такую гальку на отвалы возил, потому — в огранку не шла и никому не требовалась.

А того правильнее — наши горы все дадут, что человеку понадобится. Смотри-ка ты, что вышло! За войну у нас как молодильные годы по рудникам прошли — столько нового открыли, что и не сосчитаешь. И не крошки какие, а запасы на большие годы. Как видно, рудяной перевал прошел.

Не столь, может, в горе, сколько в людях: светлее жить стали, многое узнали, о чем нам, старикам, и не снилось. Ну, и орудия другая — не обушок с лопатой, а много способнее.

В этом, надо полагать, и есть главный перевал, после коего жизнь по-новому пошла.

1947

КЛЮЧ ЗЕМЛИ



К этому ремеслу — камешки-то искать — приверженности не было. Случалось, конечно, нахаживал, да только так... без понятия. Углядишь на смывке галечку с огоньком, ну и приберешь, а потом у верного человека спрашиваешь — похранить али выбросить?

С золотом-то куда проще. Понятно, и у золота сорт есть, да не на ту стать, как у камешков. По росту да по весу их вовсе не разберешь. Иной, глядишь, бо́льшенький, другой много меньше, оба ровно по-хорошему блестят, а на поверку выходит разница. Большой-то за пятак не берут, а к маленькому тянутся: он, дескать, небывалой воды, тут игра будет.

Когда и того смешнее. Купят у тебя камешок и при тебе же половину отшибут и в сор бросят. Это,— говорят,— только делу помеха: куст темнит. Из остатка еще половину сточат, да и хвалятся: теперь в самый раз вода обозначилась и при огне тухнуть не станет. И верно, камешок вышел махонький, а вовсе живенький, ровно смеется. Ну, и цена у него тоже переливается: услышишь — ахнешь. Вот и пойми в этом деле!

А разговоры эти, какой камень здоровье хранит, какой сон оберегает, либо там тоску отводит и протча, это все, по моим мыслям, от безделья рукоделье, при пустой беседе язык почесать, и больше ничего. Только один сказ о камешках от своих стариков перенял. Этот, видать, орешек с добрым ядрышком. Кому по зубам — тот и раскусит.

Есть, сказывают, в земле камень-одинец: другого такого нет. Не то что по нашим землям, и у других народов никто того камня не нахаживал, а слух про него везде идет Ну, все-таки этот камешок в нашей земле. Это уж старики дознались. Неизвестно только, в котором месте, да это по делу и ни к чему, потому — этот камешок сам в руки придет кому надо. В том и особинка. Через девчонку одну про это узнали. Так, сказывают, дело-то было.

То ли под Мурзинкой, то ли в другом месте был большой рудник. Золото и дорогие каменья тут выбирали.

При казенном еще положении работы вели. Начальство в чинах да ясных пуговках, палачи при полной форме, по барабану народ на работу гоняли, под барабан скрозь строй водили, прутьями захлестывали. Однем словом, мука-мученская.

И вот промеж этой муки моталась девчушка Васенка. Она на том руднике и родилась, тут и росла, и зимы зимовала. Мать-то у ней вроде стряпухи при щегарской казарме была приставлена, а про отца Васенка вовсе не знала.

Таким ребятам, известно, какое житье. Кому бы и вовсе помолчать надо, и тот от маяты-то своей, глядишь, кольнет, а то и колотушку даст: было бы на ком злость сорвать. Прямо сказать, самой горькой жизни девчонка. Хуже сироты круглой. И от работы ущитить ее некому. Ребенок еще, вожжи держать не под силу, а ее уж к таратайке нарядили: «Чем под ногами вертеться, вози-ко песок!»

Как подрастать стала,— пехло* в руки да с другими девками-бабами на разборку песков выгонять стали. И вот, понимаешь, открылся у этой Васенки большой талант на камни. Чаще всех выхватывала, и камешок самый ловкий, вовсе дорогой.

Девчонка без сноровки: найдет и сразу начальству отдает. Те, понятно, рады стараться: который камешок в банку, который себе в карман, а то и за щеку. Недаром говорится, что́ большой начальник в кармане унесет, то маленькому подальше прятать надо. А Васенку все похваливают, как сговорились. Прозвище ей придумали — Счастливый Глазок. Какой начальник подойдет, тот первым делом и спрашивает:

— Ну, как, Счастливый Глазок? Обыскала что?

Подаст Васенка находку, а начальник и затакает, как гусь на отлете:

— Так-так, так-так. Старайся, девушка, старайся!

Васенка, значит, и старается, да ей это и самой любопытно.

Раз обыскала камешок в палец ростом, так все начальство сбежалось. Украсть даже никому нельзя стало, поневоле в казенную банку запечатали. Потом уж, сказывают, из царской казны этот камешок в котору-то заграницу ушел. Ну, не о том разговор...

От Васенкиной удачи другим девкам-бабам не сладко. От начальства прижимка.

— Почему у ней много, а у вас один пустяк, да и того мало? Видно, глядите плохо.

Бабешки, чем бы добром подучить Васенку, давай ее клевать. Вовсе житья девчонке не стало. Тут еще пес выискался — главный щегарь. Польстился, видно, на Васенкино счастье, да и объявил:

— Женюсь на этой девчонке.

Даром что сам давно зубы съел, и ближе пяти шагов к нему не подходи: пропастиной разит,— из нутра протух, а тоже гнусит:

— Я те, девонька, благородьем сделаю. Понимай это и все камешки мне одному сдавай! Другим не показывай вовсе.

Васенка хоть высоконькая на ногах была, а еще далеко до невест не дотянула. Подлеток еще, годов, может, тринадцати, много четырнадцати. Да разве на это поглядят, коли начальство велит. Сколь хочешь годов попы по книгам накинут. Ну, Васенка, значит, и испужалась. Руки-ноги задрожат, как увидит этого протухлого жениха. Поскорее подает ему, какие камешки нашла, а он бормочет:

— Старайся, Васена, старайся! Зимой-то на мягкой перине спать будешь.

Как отойдет, бабенки и давай Васенку шпынять, на смех поднимут, а она и без того на части бы разорвалась, кабы можно было. После барабана к матери в казарму забежит — того хуже. Мать-то, конечно, жалела девчушку, всяко ее выгораживала, да велика ли сила у казарменной стряпухи, коли щегарь ей начальник и всякий день может бабу под прутья поставить.

До зимы все-таки Васенка провертелась, а дальше невмоготу стало. Каждый день этот щегарь на мать наступать стал:

— Отдавай дочь добром, а то худо будет!

Про малолетство ему и не поминай — бумажку от попов в нос тычет.

— Еще что сплетешь? По книгам-то небось шестнадцать лет обозначено. Самые законные годы. Коли упрямство свое не бросишь, пороть тебя завтра велю.

Тут мать-то и подалась.

— Не уйдешь, видно, доченька, от своей доли!



А доченька что? Руки-ноги отнялись, слова сказать не может. К ночи все-таки отошла и с рудника побежала. Вовсе и не сторожится, прямо по дороге зашагала, а куда — о том и не подумала. Лишь бы от рудника подальше.

Погода-то тихая да теплая издалась, и с вечера снег пошел. Ласковый такой снежок, ровно мелкие перышки просыпались. Дорога лесом пошла. Там, конечно, волки и другой зверь. Только Васенка никого не боится. На то решилась:

— Пускай лучше волки загрызут, лишь бы не за протухлого замуж.

Вот она, значит, и шлепает да шлепает. Сперва-то вовсе ходко шла. Верст поди пятнадцать, а то и все двадцать отхватила. Одежонка у ней не больно справная, а идти не холодно, жарко даже: снегу-то насыпало, почитай, на две четверти, еле ноги вытаскивает,— вот и согрелась. А снег-то все идет да идет. Еще ровно дружнее стал. Богатство прямо. Васенка и притомилась, из сил выбилась да на дороге и села.

«Дай, думает, отдохну маленько»,— а того понятия нет, что в такую погоду садиться на открытом месте хуже всего.

Сидит это, на снежок любуется, а он к ней липнет да липнет. Посидела, а подняться и не может. Только не испугалась, про себя подумала:

«Еще, видно, посидеть надо. Отдохнуть как следует»

Ну и отдохнула. Снегом-то ее совсем завалило. Как копешка среди дороги оказалась. И вовсе от деревни близко.

По счастью, наутро какому-то деревенскому,— он тоже летами маленько камешками да золотом занимался,— случилось в ту сторону на лошади дорогу торить. Лошадь и насторожилась, зафыркала, не подходит к копешке-то. Старатель* и разглядел, что человека засыпало. Подошел поближе, видит — ровно еще не вовсе охолодал, руки гнутся. Подхватил Васенку да в сани, прикрыл своим верхним тулупом и домой. Там с женой занялись отхаживать Васенку. И ведь отутовела*. Глаза открыла и пальцы на руках разжала. Глядит, а у ней в руке-то камешок большой блестит, чистой голубой воды. Старатель даже испугался,— еще в острог за такой посадят,— и спрашивает:

— Где взяла?

Васенка и отвечает:

— Сам в руку залетел.

— Как так?

Тогда Васенка и рассказала, как дело было.

Когда ее уж вовсе стало засыпать снегом, вдруг открылся перед ней ходок в землю. Неширокий ходок, и темненько тут, а идти можно: ступеньки видать и тепло. Васенка и обрадовалась.

«Вот где, думает, никому из руднишных меня не найти»,— и стала спускаться по ступенькам. Долго спускалась и вышла на большое-большое поле. Конца-краю ему не видно. Трава на этом поле кустиками и деревья реденько,— все пожелтело, как осенью. Поперек поля река. Черным-чернехонька, и не пошевельнется, как окаменела. За рекой, прямо перед Васенкой, горочка небольшая, а на верхушке камни-голыши: посредине — как стол, а кругом — как табуреточки. Не по человечьему росту, а много больше. Холодно тут и чего-то боязно.

Хотела уж Васенка обратно податься, только вдруг за горкой искры посыпались. Глядит,— на каменном-то столе ворох дорогих камней оказался. Разными огоньками горят, и река от них повеселее стала. Глядеть любо. Тут кто-то и спрашивает:

— Это на кого?

Снизу ему кричат:

— На простоту.

И сейчас же камешки искорками во все стороны разлетелись. Потом за горкой опять огнем полыхнуло и на каменный стол камни выбросило. Много их. Не меньше поди сенного воза. И камешки покрупнее. Кто-то опять спрашивает:

— Это на кого?

Снизу кричат:

— На терпеливого.

И, как тот раз, камешки полетели во все стороны. Ровно облако жучков поднялось. Та только различка, что блестят по-другому. Одни красным отливают, другие зелеными огоньками посверкивают, голубенькие тоже, желтенькие... всякие. И тоже на лету жужжат. Загляделась Васенка на тех жучков, а за горкой опять огнем полыхнуло, и на каменном столе новый ворошок камней. На этот

раз вовсе маленький, зато камни все крупные и красоты редкой. Снизу кричат:

— Это на удалого да на счастливый глаз.

И сейчас же камешки, как мелкие пташечки, заныряли-полетели во все стороны. Над полем ровно фонарики запокачивались. Эти тихонько летят, не торопятся. Один камешок к Васенке подлетел да, как котенок головенкой, в руку и ткнулся — тут, дескать, я, возьми!

Разлетелись каменные птички, тихо да темно стало. Ждет Васенка, что дальше будет, и видит — появился на каменном столе один камешок. Ровно вовсе простенький, на пять граней: три продольных да две поперечных. И тут сразу тепло да светло стало, трава и деревья зазеленели, птички запели, и река заблестела, засверкала, запоплескивала. Где голый песок был, там хлеба густые да рослые. И людей появилось многое множество. Да все веселые. Как будто и с работы идет, а тоже песню поет.

Васенушка тут сама закричала:

— Это кому, дяденьки?

Снизу ей и ответили:

— Тому, кто верной дорогой народ поведет. Этим ключом-камнем тот человек землю отворит, и тогда будет, как сейчас видела.

Тут свет потух, и ничего не стало.

Старатель с женой сперва посомневались, потом думают,— откуда у девчонки в руке камешок оказался. Стали спрашивать, чья она да откуда. Васенка и это без утайки рассказала, а сама просит:

— Тетенька, дяденька! Не сказывайте про меня руднишным!

Муж с женой подумали-подумали, да и говорят:

— Ладно, живи у нас... Ухраним как-нибудь, только звать станем Феней. На это имя ты и откликайся.

У них, видишь, своя девчонка недавно умерла: Феней звали. Как раз в тех же годах. И на то надеялись, что деревня не на казенных, а на демидовских землях пришлась.

Так оно и вышло. Барский староста, понятно, сразу прибылую заметил, да ему что? Не от него поди-ко сбежала. Лишний работник не убыток. Стал ее на работу наряжать.

Конечно, и в демидовской деревне сладкого было мало, а все не на ту стать, как на казенном руднике. Ну,

и камешок, который в руке Васенки оказался, помог. Старатель сбыл-таки потихоньку этот камешок. Понятно, не за настоящую цену, а все-таки хорошие деньги взял. Маленько и вздохнули.

Как в полный возраст Васенка пришла, так в этой же деревне и замуж за хорошего парня вышла. С ним и до старости прожила, детей и внуков вырастила.

Старое свое имя да прозвище Счастливый Глазок бабка Федосья, может, и сама забыла, про рудник никогда не вспоминала. Только вот когда о счастливых находках заговорят, всегда ввяжется.

— Это,— говорит,— хитрости мало — хорошие камешки обыскать, да немного они нашему брату счастья дают. Лучше о том надо заботиться, как ключ земли поскорее вызволить.

И тут расскажет:

— Есть, дескать, камень — ключ земли. До времени его никому не добыть: ни простому, ни терпеливому, ни удалому, ни счастливому. А вот когда народ по правильному пути за своей долей пойдет, тогда тому, который передом идет и народу путь кажет, этот ключ земли сам в руки дастся.

Тогда все богатства земли откроются и полная перемена жизни будет. На то надейтесь!

1940

ОРЛИНОЕ ПЕРО



В деревне Сарапулке это началось. В недавних годах. Вскорости после гражданской войны. Деревенский народ в те годы не больно грамотен был. Ну, все-таки каждый, кто за Советскую власть, придумывал, чем бы ей пособить.

В Сарапулке, известно, от дедов-прадедов привычка осталась в камешках разбираться. В междупарье, али еще когда свободное время окажется, старики непременно этими камешками занимались. Про

это вот вспомнили и тоже артелку устроили. Стали графит добывать. Вроде и ладно пошло. На тысячи пудов добычу считали, только вскоре забросили. Какая тому причина: то ли графит плохой, то ли цена неподходящая, этого растолковать не умею. Бросили и бросили, за другое принялись — на Адуй наметились.

Адуйское место всякому здешнему хоть маленько ведомо. Там главная приманка — аквамаринчики да аметистишки. Ну и другое попадается. Кто-то из артелки похвастал: «Знаю в старой яме щелку с большой надеждой». Артельщики на это и поддались. Сперва у них гладко пошло. Два ли, три занорыша нашли. Решеточных! Решетками камень считали. На их удачу глядя, и другие из Сарапулки на Адуй кинулись: нельзя ли, дескать, и нам к тому припаиться. Яма большая,— не запретишь. Тут, видно, и вышла не то фальшь, не то оплошка. Артелка, которая сперва старалась, жилку потеряла. Это с камешками часто случается. Искали, искали, не нашли. Что делать? А в Березовске в ту пору жил горщик один. В больших уж годах, а на славе держался. Артельщики к нему и приехали. Обсказали, в каком месте старались, и просят:

— Сделай милость, Кондрат Маркелыч, поищи жилку!

Угощенье, понятно, поставили, словами старика всяко задабривают, на обещанья не скупятся. Тут еще березовские старатели подошли, выхваляют своего горщика:

— У нас Маркелыч на эти штуки дошлый. По всей округе такого не найдешь!

Приезжие, конечно, и сами это знают, только помалкивают. Им на руку такая похвальба: не расшевелит ли она старика. Старик все-таки наотрез отказывается:

— Знаю я эти пережимы на Адуе! Глаз у меня теперь их не возьмет!

Артельщики свой порядок ведут. Угощают старика да наговаривают: одна надежда на тебя. Коли тебе не в силу, к кому пойти? Старику лестно такое слушать, да и стаканчиками зарядился. Запошевеливал плечами-то, сам похваляться стал: это нашел, другое нашел, там место открыл, там показал. Однем словом, дотолкали старика. Разгорячился, по столу стукнул.

— Не гляди, что старый, я еще покажу, как жилки искать!

Артельщикам того и надо.

— Покажи, Кондрат Маркелыч, покажи, а мы в долгу не останемся. От первого занорыша половина в твою пользу.

Кондрат от этого в отпор.

— Не из-за этого стараюсь! Желаю доказать, какие горщики бывают, ежели с понятием который.

Правильно слово сказано: пьяный похвалился, а трезвому отвечать. Пришлось Маркелычу на Адуй идти. Расспросил на месте, как жилка шла, стал сам постукивать да смекать, где потерю искать, а удачи нет. Артельщики, которые старика в это дело втравили, видят — толку нет, живо от работы отстали. Рассудили по-своему:

— Коли Кондрат найти не может, так нечего и время терять.

Другие старатели, которые около той же ямы колотились, тоже один за другим отставать стали. Да и время подошло покосное. Всякому охота впору сенца поставить. На Адуйских-то ямах людей как корова языком слизнула: никого не видно. Один Кондрат у ямы бьется. Старик, видишь, самондравный*. Сперва-то он для артельщиков старался, а как увидел, что камень упирается, не хочет себя показать, старик в азарт вошел:

— Добьюсь своего! Добьюсь!

Не одну неделю тут старался в одиночку. Из сил выбиваться стал, а толку не видит. Давно бы отстать надо, а ему это зазорно. Ну как! Первый по нашим местам горщик не мог жилку найти! Куда годится? Люди засмеют. Кондрат тогда и придумал.

— Не попытать ли по старинке?

В старину, сказывают, места искали рудознатной лозой да притягательной стрелой. Лоза для всякой руды шла, а притягательная стрела — для камешков. Кондрат про это сызмала слыхал, да не больно к тому приверженность оказывал,— за пустяк считал. Иной раз посмеивался, а тут решил попробовать.

— Коли не выйдет, больше тут и топтаться не стану.

А правило такое было. Надо наконечник стрелы сперва магнит-камнем потереть, потом поисковым. Тем, значит, на который охотишься. Слова какие-то требовалось сказать. Эту заговоренную стрелу пускали из простого лучка, только надо было глаза зажмурить и трижды повернуться перед тем, как стрелу пустить.

Кондрат знал все эти слова и правила, только ему вроде стыдно показалось этим заниматься, он и придумал пристроить к этому своего не то внучонка, не то правнучка. Не поленился, сходил домой. Там, конечно, виду не показал, что по работе незадача. Какие из березовских старателей подходили с разговором, всех обнадеживал: на недельку еще сходить придется.

Сходил, как полагается, в баню, попарился, полежал денек дома, а как стал собираться, говорит внучонку:

— Пойдешь, Мишунька, со мной камешки искать?

Мальчонку, понятно, лестно с дедушком пойти.

— Пойду,— отвечает.

Вот и привел Кондрат своего внучонка на Адуй. Сделал ему лучок, стрелу по всем старинным правилам изготовил, велел Мишуньке зажмуриться, покрутиться и стрелять куда придется. Мальчонка рад стараться. Все исполнил, как требовалось. До трех раз стрелял. Только видит Кондрат — ничего путного не выходит. Первый раз стрела в пенек угодила, второй — в траву пала, третий — около камня ткнулась и ниже скатилась. Старик по всем местам поковырял маленько. Так, для порядка больше, чтоб выполнить все по старинке. Мишунька, понятно, тем лучком да стрелой играть стал. Набегался, наигрался. Дедушка покормил его и спать устроил в балагашке, а самому не до сна. Обидно. На старости лет опозорился. Вышел из балагашка, сидит, раздумывает, нельзя ли еще как попытать. Тут ему и пришло в голову: потому, может, стрела не подействовала, что не той рукой пущена.

— Мальчонка, конечно, несмысленыш. Самый вроде к тому делу подходящий, а все-таки не он искал, потому и показа нет. Придется, видно, самому испробовать.

Заговорил стрелу, приготовил все, как требовалось, зажмурил глаза, покрутился и спустил стрелу. Полетела она не в ту сторону, где яма была, а на тропке оказался какой-то проходящий. Идет налегке. На руке только корзинка корневая, в каких у нас ягоды носят. Подхватил прохожий стрелу, которая близенько от него упала, и говорит с усмешкой:

— Не по годам тебе, дедушка, ребячьей забавой тешиться. Не по годам!

Кондрату неловко, что его за таким делом застали, говорит в сердцах:

Проходи своей дорогой! Тебя не касаемо.

Прохожий смеется.

— Как не касаемо, коли чуть стрелой мне в ногу не угодил.

Подошел к старику, подал стрелу и говорит укори тельно, а то со смешком:

— Эх, дед, дед! Много прожил, а присловья не зна ешь: то не стрела, коя орлиным пером не оперена.

Маркелычу этот разговор не по нраву. Сердито отвечает:

— Нет по нашим местам такой птицы! Неоткуда и перо брать.

— Неправильно, говорит,— твое слово. Орлиное перо везде есть, да только искать-то его надо под высоким светом.

Кондрат посомневался:

— Мудришь ты! Над стариком, гляжу, посмеяться надумал, а я ведь в своем деле не хуже людей разумею.

— Какое,— спрашивает,— дело?

Старик тут и распоясался. Всю свою жизнь этому человеку рассказал. Сам себе дивится, а рассказывает Прохожий сидит на камешке, слушает да подгоняет·

— Так, так, дедушка, а дальше что?

Кончил старик свой рассказ. Прохожий похвалил:

— Честно, дед, поработал. Много полезного добыл, а стрелу зачем пускал?

Кондрат и это не потаил. Прохожий поглядел этак вприщур, да и говорит:

— То-то и есть. Орлиного пера твоей стреле не хватает.

Кондрат тут вовсе рассердился. Обидно показалось. Всю, можно сказать, жизнь выложил, а он с перьями своими лезет! Закричал этак сердито:

— Говорю, нет по нашим местам такой птицы! Не найдешь пера! Глухой ты, что ли?

Прохожий усмехнулся, да и спрашивает:

— Хочешь, покажу?

Кондрат, понятно, не поверил, а все-таки говорит:

— Покажи, коли умеешь, да не шутишь.

Прохожий тут достал из корзинки камешек кубастенький. Ростом кулака в два. Сверху и снизу ровнехонько срезано, а с боков обделено на пять граней. В потемках не разберешь, какого цвету камень, а по гладкой



шлифовке — орлец. На верхней стороне чуть видны беленькие пятнышки, против каждой грани.

Поставил прохожий этот камешек рядом с собой, задел пальцем одно пятнышко, и вдруг их светом накрыло, как большим колоколом. Свет яркий-яркий, с голубым отливом, а что горит — не видно. Световой колокол не больно высок. Так в три либо четыре человечьих роста. В свету мошкары вьется видимо-невидимо, летучие мыши шныряют, а вверху пташки пролетают, и каждая по перышку роняет. Перышки кружатся, на землю падать не торопятся.

— Видишь,— спрашивает,— перья?

— Вижу,— отвечает,— только это вовсе не орлиные.

— Правильно, не орлиные, а больше воробьиные,— говорит прохожий и объясняет: — Это твоя жизнь, дед, показана. Трудился много, а крылышки маленькие, слабые, на таких высоко не подняться. Мошкара глаза забивает, да еще всякая нечисть мешает. А вот гляди, как дальше будет.

Задел опять пальцем которое-то пятнышко, и световой колокол во много раз больше стал. К голубому отливу зеленый примешался. Под ногами будто первый пласт земли сняли, а вверху птицы пролетают. Пониже утки да гуси, повыше журавли, еще выше — лебеди. Каждая птица по перу сбрасывает, и эти перья книзу ровнее летят, потому — вес другой.

Прохожий еще задел пальцем пятнышко, и световой колокол раздался и ввысь взлетел. Свет такой, что глаза слепит. Голубым, зеленым и красным отливает. На земле на две сажени* в глубину все видно, а вверху птицы плывут. Каждая в свету перо роняет. Те перья к земле, как стрелы, летят и у самого того места, где камешек поставлен, падают. Прохожий глядит на Кондрата, улыбается светленько и говорит:

— И выше орла, дед, птицы есть, да показать опасаюсь: глаза у тебя не выдержат. А пока попытай свою стрелу!

Подобрал с земли столько-то перьев, живо пристроил, будто век таким делом занимался, и наказывает старику:

— Опускай в то место, где жилку ждешь, зажмуривать глаза да крутиться не надо.

Кондрат послушался. Полетела стрела, а яма навстречу ей раскрылась. Не то что все каменные жилки-ходочки,

а и занорыши видно. Один вовсе большой. Аквамаринов в нем чуть не воз набито, и они как смеются. Старик, понятно, растревожился, побежал поближе посмотреть, а свет и погас. Маркелыч кричит:

— Прохожий, ты где?

А тот отвечает:

— Дальше пошел.

— Куда ты в темень такую? Хитники пообидеть могут Не ровен час, еще отберут у тебя эту штуку! — кричит Маркелыч, а прохожий отвечает:

— Не беспокойся, дед! Эта штука только в моих руках действует да у того, кому сам отдам.

— Ты хоть кто такой? — спрашивает Маркелыч.

А прохожий уж далеко. Едва слышно донеслось.

— У внучонка спроси. Он знает.

Мишунька весь этот ночной случай не проспал. Светом-то его разбудило, он и глядел из балагашка. Как дедушко пришел, Мишунька и говорит:

— А ведь это, дедушко, у тебя был Ленин!

Старик все-таки не удивился.

— Верно, Мишунька, он. Не зря люди сказывают ходит он по нашим местам. Ходит! Уму-разуму учит. Чтоб не больно гордились своими крылышками, а к высокому свету тянулись. К орлиному, значит, перу.

1945

СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ



Против нашей Ильменской каменной кладовухи, конечно, по всей земле места не найдешь. Тут и спорить нечего, потому — на всяких языках про это записано: в Ильменских горах камни со всего света лежат.

Такое место, понятно, мимо ленинского глазу никак пройти не могло. В 20-м году Владимир Ильич самоличным декретом объявил здешние места заповедными. Чтоб, значит, промышленников и хит-

ников всяких по загривку, а сберегать эти горы для научности, на предбудущие времена.

Дело будто простое. Известно, ленинский глаз не то что по земле, под землей видел. Ну, и эти горы предусмотрел. Только наши старики горщики все-таки этому не совсем верят. Не может, дескать, так быть. Война тогда на полную силу шла, а тут вдруг камешки выплыли. Без случая это дело не прошло. И по-своему рассказывают так.

Жили два артельных брата: Максим Вахоня да Садык Узеев, по прозвищу Сандугач. Один, значит, русский, другой из башкирцев, а дело у них одно — с малых лет по приискам да рудникам колотились и всегда вместе. Большая, сказывают, меж ними дружба велась, на удивление людям. А сами друг на дружку нисколько не походили. Вахоня мужик тяжелый, борода до пупа, плечи ровно с подставышем, кулак — глядеть страшно, нога медвежья и разговор густой, буторовый. Потихоньку загудит и то мух в сторону на полсажени относит, а характеру мягкого. По пьяному делу, когда какой заноза раздразнит, так только пригрозит:

— Отойди, парень, от греха! Как бы я тебя ненароком не стукнул.

Садык ростом не вышел, из себя тончавый, вместо бороденки семь волосков, и те не на месте, а жилу имел крепкую. Забойщик, можно сказать, тоже первой статьи. Бывает ведь так-то. Ровно и поглядеть не на кого, а в работе податен. Характера был веселого. Попеть, и поплясать, и на курае подудеть большой охотник. Недаром ему прозвище дали Сандугач, по-нашему соловей.

Вот эти Максим Вахоня да Садык Сандугач и сошлись в житье на одной тропе. Не все, конечно, на казну да хозяев добывали. Бывало, и сам-друг пески перелопачивали,— свою долю искали. Случалось и находили, да в карманах не залеживалось. Известно, старательскому счастью одна дорога была показана. Прогуляют все, как полагается, и опять на работу, только куда-нибудь на новое место: там, может, веселее.

Оба бессемейные. Что им на одном месте сидеть! Собрали котомки, инструмент прихватили — и айда.

Вахоня гудит:

— Пойдем поглядим, в коем месте люди хорошо живут.

Садык веселенько шагает да посмеивается:

— Шагай, Максимка, шагай! Новым мистам золотой писок сама руками липнет. Дарогой каминь барадам скачит. Один раз твой барада полпуда станит.

— У тебя небось ни один не задержится,— отшучивался Вахоня и лешачиным обычаем гоготал: — Хо-хо-хо!

Так вот и жили два артельных брата. Хлебнули сладкого досыта: Садык в работе правый глаз потерял, Вахоня на левое ухо совсем не слышал.

На Ильменских горах они, конечно, не раз бывали.

Как гражданская война началась, оба старика в этих же местах оказались. По горняцкому положению, конечно, оба по винтовке взяли и пошли воевать за Советскую власть. Потом, как Колчака в Сибирь отогнали, политрук и говорит:

— Пламенное, дескать, вам спасибо, товарищи-старики, от лица Советской власти, а только теперь, как вы есть инвалиды подземного труда, подавайтесь на трудовой фронт. К тому же,— говорит,— фронтовую видимость нарушаете, как один кривой, а другой глухой.

Старикам это обидно, а что поделаешь? Правильно политрук сказал — надо поглядеть, что на приисках делается. Пошли сразу к Ильменям, а там народу порядком набилось, и всё хита самая последняя. Этой ничего не жаль, лишь бы рублей побольше зашибить. Все ямы, шахты живо засыплет, коли выгодно покажется. За хитой, понятно, купец стоит, только себя не оказывает, прячется. Заподумывали наши старики — как быть? Сбегали в Миасс, в Златоуст, обсказали, а толку не выходит. Отмахиваются:

— Не до этого теперь, да и на то главки есть.

Стали спрашивать про эти главки, в голове муть пошла. По медному делу — одна главка, по золотому — другая, по каменному — третья. А как быть, коли на Ильменских горах все есть. Старики тогда и порешили:

— Подадимся до самого товарища Ленина. Он небось найдет время.

Стали собираться, только тут у стариков рассорка случилась. Вахоня говорит: для показу надо брать один дорогой камень, который в огранку принимают. Ну, и

золотой песок тоже. А Садык свое заладил: всякого камня образец взять, потому дело научное.

Спорили-спорили, на том договорились: каждый соберет свой мешок, как ему лучше кажется.

Вахоня расстарался насчет цирконов да фенакитов. В Кочкарь сбегал, спроворил там эвклазиков синеньких да розовых топазиков. Золотого песку тоже. Мешочек у него аккуратный вышел и камень всё — самоцвет. А Садык наворотил, что и поднять не в силах. Вахоня грохочет:

— Хо-хо-хо! Ты бы все горы в мешок забил! Разберись, дескать, товарищ Ленин, которое к делу, которое никому не надо.

Садык на это в обиде.

— Глупый,— говорит,— ты, Максимка, человек, коли так бачку Ленина понимаешь. Ему научность надо, а базарная цена камню — наплевать.

Поехали в Москву. Без ошибки в дороге, конечно, не обошлось. В одном месте Вахоня от поезда отстал. Садык хоть и в сердцах на него был, сильно запечалился, захворал даже. Как-никак всегда вместе были, а тут при таком важном деле разлучились. И с двумя мешками камней одному хлопотно. Ходят, спрашивают, не соль ли в мешках для спекуляции везешь? А как покажешь камни, сейчас пойдут расспросы, к чему такие камни, для личного обогащения али для музея какого? Однем словом, беспокойство.

Вахоня все-таки как-то исхитрился, догнал поезд под самой Москвой. До того друг другу обрадовались, что всю вагонную публику до слез насмешили: обниматься стали. Потом опять о камнях заспорили, который мешок нужнее, только уж помягче, с шуткой. Как к Москве подъезжать стали, Вахоня и говорит:

— Я твой мешок таскать буду. Мне сподручнее и не столь смешно. Ты поменьше, и мешок у тебя будет поменьше. Москва поди-ко, а не Миасс! Тут порядок требуется.

Первую ночь, понятно, на вокзале перебились, а с утра пошли по Москве товарища Ленина искать. Скоренько нашли и прямо в Совнарком с мешками ввалились. Там спрашивают, что за люди, откуда, по какому делу.

Садык отвечает:

— Бачка Ленин желаим каминь казать.

Вахоня тут же гудит:



— Места богатые. От хиты ухранить надо. Дома толку не добились. Беспременно товарища Ленина видеть требуется.

Ну, провели их к Владимиру Ильичу. Стали они дело обсказывать, торопятся, друг дружку перебивают.

Владимир Ильич послушал, послушал и говорит:

— Давайте, други, поодиночке. Дело, гляжу, у вас государственное, его понять надо.

Тут Вахоня, откуда и прыть взялась, давай свои дорогие камешки выкладывать, а сам гудит: из такой ямы, из такой шахты камень взял, и сколько он на рубли стоит.

Владимир Ильич и спрашивает:

— Куда эти камни идут?

Вахоня отвечает — для украшения больше. Ну, там перстни, серьги, буски и всякая такая штука. Владимир Ильич задумался, полюбовался маленько камешками и сказал:

— С этим погодить можно.

Тут очередь до Садыка дошла. Развязал он свой мешок и давай камни на стол выбрасывать, а сам приговаривает:

— Амазон-каминь, калумбит-каминь, лабрадор-каминь...

Владимир Ильич удивился:

— У вас, смотрю, из разных стран камни.

— Так, бачка Ленин! Правда говоришь. Со всякой стороны каминь сбежался. Каменный мозга каминь, и тот есть. В Еремеевской яме солничный каминь находили.

Владимир Ильич тут улыбнулся и говорит:

— Каменный мозг нам, пожалуй, ни к чему. Этого добра и без горы найдется. А вот солнечный камень нам нужен. Веселее с ним жить.

Садык слышит этот разговор и дальше старается:

— Потому, бачка Ленин, наш каминь хорош, что его солнышком крепко прогревает. В том месте горы поворот дают и в степь выходят.

— Это, — говорит Владимир Ильич, — всего дороже, что горы к солнышку повернулись и от степи не отгораживают.

Тут Владимир Ильич позвонил и велел все камни переписать и самый строгий декрет изготовить, чтоб на Ильменских горах всю хиту прекратить и место это заповедным сделать. Потом поднялся на ноги и говорит:

— Спасибо вам, старики, за заботу. Большое вы дело сделали! Государственное! — И руки им, понимаешь, пожал.

Ну те, понятно, вне ума стоят. У Вахони вся борода слезами, как росой, покрылась, а Садык бороденкой трясет да приговаривает:

— Ай, бачка Ленин! Ай, бачка Ленин!

Тут Владимир Ильич написал записку, чтоб определить стариков сторожами в заповедник и пенсии им назначить.

Только наши старики так и не доехали до дому. По дороге в ту пору, известно, как возили. Поехали в одно место, а угадали в другое. Война там, видно, кипела, и, хотя один был глухой, а другой кривой, оба снова воевать пошли.

С той поры об этих стариках и слуху не было, а декрет о заповеднике вскорости пришел. Теперь этот заповедник Ленинским зовется.

1941

БОГАТЫРЕВА РУКАВИЦА

(Из уральских сказов о Ленине)



В здешних-то местах раньше простому человеку никак бы не удержаться: зверь бы заел либо гнус одолел. Вот сперва эти места и обживали богатыри. Они, конечно, на людей походили, только сильно большие и каменные. Такому, понятно, легче: зверь его не загрызет, от оводу вовсе спокойно, жаром да стужей не проймешь, и домов не надо.

За старшего у этих каменных богатырей ходил один, по названью Денежкин. У него, видишь, на ответе был стакан с мелкими денежками из всяких здешних камней да руды. По этим рудяным да каменным денежкам тому богатырю и прозванье было.

Стакан, понятно, богатырский — выше человеческого

росту, много больше сорокаведерной бочки. Сделан тот стакан из самолучшего золотистого топаза и до того тонко да чисто выточен, что дальше некуда. Рудяные да каменные денежки насквозь видны, а сила у этих денежек такая, что они место показывают.

Возьмет богатырь какую денежку, потрет с одной стороны,— и сразу место, с какого та руда либо камень взяты, на глазах появится. Со всеми пригорочками, ложками, болотцами,— примечай знай. Оглядит богатырь, все ли в порядке, потрет другую сторону денежки,— и станет то место просвечивать. До капельки видно, в котором месте руда залегла и много ли ее. А другие руды либо камни сплошняком кажет. Чтоб их разглядеть, надо другие денежки с того же места брать.

Для догляду да посылу была у Денежкина богатыря каменная птица. Росту большого, нравом бойкая, на лету легкая, а обличье у ней сорочье — пестрое. Не разберешь, чего больше намешано: белого, черного али голубого. Про хвостовое перо говорить не осталось,— как радуга в смоле, а глаз агатовый в веселом зеленом ободке. И сторожкая та каменная сорока была. Чуть кого чужого заслышит, сейчас заскачет, застрекочет, богатырю весть подает.

Смолоду каменные богатыри крутенько пошевеливались. Немало они троп протоптали, иные речки отвели, болота подсушили, вредного зверья поубавили. Им ведь ловко: стукнет какую зверюгу каменным кулаком либо двинет ногой — и дыханья нет. Однем словом, поработали.

Старшой богатырь нет-нет и гаркнет на всю округу:

— Здоровеньки, богатыри?

А они подымутся враз, да и загрохочут:

— Здоровы, дядя Денежкин, здоровы!

Долго так-то богатыри жили, потом стареть стали. Покличет их старшой, а они с места сдвинуться не могут. Кто сидит, кто лежмя лежит, вовсе камнями стали, богатырского оклику не слышат. И сам Денежкин отяжелел, мохом обрастать стал. Чует,— стоять на ногах не может. Сел на землю, лицом к полуденному солнышку, присугорбился, бородой в коленки уперся, да и задремал. Ну, все-таки заботы не потерял. Как заворошится каменная сорока, так он глаза и откроет. Только и сорока не такая резвая стала. Тоже, видно, состарилась.

К этой поре и люди стали появляться. Первыми, понятно, охотники забегать стали, как тут вовсе приволье было. За охотниками пахарь пришел. Стал деревья валить да деревни ставить. Вскорости и такие объявились, кои по горам да ложкам землю ковырять принялись, не положено ли тут чего на пользу. Эти живо прослышали насчет топазового стакана с денежками и стали к нему подбираться.

Первый-то, кто на это диво набрел, видать, из простодушных случился. Он только на веселые камешки польстился. Набрал их всяких: желтеньких, зеленых, вишневых. Ну, и открыл места, где такие камешки водятся.

За этим добытчиком другие потянулись. Больше норовят тайком один от другого. Известно, жадность людская, охота все богатство на себя одного перевести.

Прибегут такие, видят — старый богатырь вовсе утлый, чуть живой сидит, а все-таки вполглаза посматривает. Топазовый стакан полнехонек рудяными да каменными денежками и закрыт богатыревой рукавицей, а на ней каменная сорока поскакивает, беспокоится. Добытчикам, понятно, страшно, они и давай старого богатыря словами обхаживать.

— Дозволь, родимый, маленько денежек взаймы взять. Как справлюсь с делом, непременно отдам. Убери свою сороку.

Старик на эти речи ухмыльнется и пробурчит, как гром по далеким горам:

— Бери сколь надобно, только с уговором, чтоб народу на пользу.

И сейчас своей птице знак подает.

— Посторонись, Стрекотуха.

Каменная сорока легонько подскочит, крыльями взмахнет и на левое плечо богатыря усядется да оттуда и уставится на добытчика.

Добытчики хоть оглядываются на сороку, а все-таки рады, что с места улетела. Про рукавицу, чтоб богатырь снял ее, просить не насмеливаются: сами, дескать, как-нибудь одолеем это дело. Только она — эта богатырева рукавица — людям невподъем. Вагами да ломами ее отворачивать примутся. В поту бьются, ничего не щадят. Хорошо, что топазовый стакан навеки сделан — его никак не пробьешь.



Ну, все-таки сперва и на старика поглядывают и на сороку озираются, а как маленько сдвинут рукавицу да запустят руки в стакан, так последний стыд потеряют. Всяк норовит ухватить побольше, да такие денежки выбирают, кои подороже кажутся. Иной столько нахапает, что унести не в силу. Так со своей ношей и загибнет.

Старый Денежкин эту повадку давно на примету взял. Нет-нет и пошлет свою сороку.

— Погляди-ко, Стрекотуха, далече ли тот ушел, который два пестеря денежек нагреб.

Сорока слетает, притащит обратно оба пестеря, ссыплет рудяные денежки в топазовый стакан, пестери около бросит, да и стрекочет:

— На дороге лежит, кости волками обглоданы.

Богатырь Денежкин на это и говорит:

— Вот и хорошо, что принесла. Не на то нас с тобой тут поставили, чтоб дорогое по дорогам таскалось. А того скоробогатка не жалко. Все бы нутро земли себе уволок, да кишка порвалась.

Были, конечно, и удачливые добытчики. Немало они рудников да приисков пооткрывали. Ну, тоже не совсем складно, потому — одно добывали, а дороже того в отвалы сбрасывали.

Неудачливых все-таки много больше пришлось. С годами все тропки к Денежкину-богатырю по человечьим костям приметны стали. И около топазового стакана хламу много развелось. Добытчики, видишь, как дорвутся до богатства, так первым делом свой инструментишко наполовину оставят, чтоб побольше рудяных денег с собой унести. А там, глядишь, каменная сорока их сумки-котомки, пестери да коробья обратно притащит, деньги в стакан ссыплет, а сумки около стакана бросит. Старик Денежкин на это косился, ворчал:

— Вишь, захламили место. Стакана вовсе не видно стало. Не сразу подберешься к нему. И тропки тоже в нашу сторону все испоганили. Настоящему человеку по таким и ходить-то поди муторно.

Убирать кости по дороге и хлам у стакана все-таки не велел. Говорил сороке:

— Может, кто и образумится, на это глядя. С понятием к богатству подступит.

Только перемены все не было.

Старик Денежкин иной раз жаловался:

— Заждались мы с тобой, Стрекотуха, а все настоящий человек не приходит.

Когда опять уговаривать сороку примется:

— Ты не сомневайся, придет он. Без этого быть невозможно. Крепись как-нибудь.

Сорока на это головой скоренько запокачивает:

— Верное слово говоришь. Придет!

А старик тогда и вздохнет:

— Передадим ему все по порядку — и на спокой.

Раз так-то судят, вдруг сорока забеспокоилась, с места слетела и засуетилась, как хозяйка, когда она гостей ждет. Оттащила все старательское барахло в сторону от стакана, очистила место, чтоб человеку подойти, и сама без зову на левое плечо богатырю взлетела, да и прихорашивается.

Денежкин-богатырь от этой пыли чихнул. Ну, понял, к чему это, и, хоть разогнуться не в силах, все-таки маленько подбодрился, в полный глаз глядеть стал и видит: идет по тропке человек, и никакого при нем снаряду — ни каелки то есть, ни лопатки, ни ковша, ни лома. И не охотник, потому — без ружья. На таких, кои по горам с молотками да сумками ходить стали, тоже не походит. Вроде как просто любопытствует, ко всему приглядывается, а глаз быстрый. Идет скоренько. Одет по-простому, только на городской лад. Подошел поближе, приподнял свою кепочку и говорит ласково:

— Здравствуй, дедушка богатырь!

Старик загрохотал по-своему:

— Здравствуй, мил-любезный человек. Откуда, зачем ко мне пожаловал?

— Да вот,— отвечает,— хожу по земле, гляжу, что где полезное народу впусте лежит и как это полезное лучше взять.

— Давно,— говорит Денежкин,— такого жду, а то лезут скоробогатки. Одна у них забота, как бы побольше себе захватить. За золотишком больше охотятся, а того соображенья нет, что у меня много дороже золота есть. Как мухи из-за своей повадки гинут, и делу помеха.

— А ты,— спрашивает,— при каком деле, дедушка, приставлен?

Старый богатырь тут и объяснил все,— какая, значит, сила рудяных да каменных денежек. Человек это выслушал и спрашивает:

— Поглядеть из своей руки можно?

— Сделай,— отвечает,— милость, погляди.

И сейчас же сбросил свою рукавицу на землю.

Человек взял горсть денежек, поглядел, как они место показывают, ссыпал в стакан и говорит:

— Умственно придумано. Ежели с толком эти знаки разобрать, всю здешнюю землю наперед узнать можно. Тогда и разбирай по порядку.

Слушает это Денежкин-богатырь и радуется, гладит сороку на плече и говорит тихонько:

— Дождались, Стрекотуха, настоящего, с понятием. Дождались! Спи теперь спокойно, а я сдачу объявлю.

Усилился и загрохотал вовсе по-молодому на всю округу:

— Слушай, понимающий, последнее слово старых каменных гор. Бери наше дорогое на свой ответ. И то не забудь. Под верховым стаканом в земле изумрудный зарыт. Много больше этого. Там низовое богатство показано. Может, когда и оно народу понадобится.

Человек на это отвечает:

— Не беспокойся, старина. Разберем как полагается. Коли при своей живности не успею, надежному человеку передам. Он не забудет и все устроит на пользу народу. В том не сомневайся. Спасибо за службу да за добрый совет.

— Тебе спасибо на ласковом слове. Утешил ты меня, утешил,— говорит старый богатырь, а сам глаза закрыл и стал гора горой. Кто его раньше не знал, те просто зовут Денежкин камень. На левом скате горы рудный выход обозначился. Это где сорока окаменела. Пестренькое место. Не разберешь, чего там больше: черного ли али белого, голубого. Где хвостовое перо пришлось, там вовсе радуга смолой побрызгана, а черного глаза в веселом зеленом ободке не видно,— крепко закрыт. И зовется то место — урочище Сорочье.

Человек постоял еще, на сумки-пестери, ломы да лопаты покосился и берет с земли богатыреву рукавицу, а она каменная, конечно, тяжелая, в три либо четыре человечьих роста. Только человек и сам на глазах растет. Легонько, двумя перстами поднял богатыреву рукавицу, положил на топазовый стакан и промолвил:

— Пусть полежит вместо покрышки. Все-таки балов-

ства меньше, а приниматься за работу тут давно пора. Забывать старика не след. Послужил немало и еще пригодится.

Сказал и пошел своей дорогой прямо на полночь. Далеконько ушел, а его все видно. Ни горы, ни леса заслонить не могут. Ровно чем дальше уходит, тем больше кажется.

1944

КРУГОВОЙ ФОНАРЬ



Цену человеку с маху не поставишь. Мудреное это дело. Недаром пословица сложена: «Человека узнать — пуд соли с ним съесть».

Только этак-то, на мое разумение, больно солоно обойдется, в годах затяжно, да и опаска тут есть. За пудом-то соли ты беспременно с тем человеком либо приятство заведешь, либо навек поссоришься. Глядишь, неустойка и выйдет: либо по дружбе скинешь, либо по насердке зубом натянешь,— такому поверишь, чего и не было.

Нет, соляная мерка не вовсе к такому делу подходит. Мои старики по-другому советовали:

— Обойди,— говорят,— человека не один раз да разузнай, какой он в работе, какой в гульбе, ловок ли по суседству, каков по хозяйству да по семейности. Однем словом, огляди кругом, без пропуску.

Да еще наказывали:

— Гляди в полный глаз, не смигивай: это, дескать, соринка, то — пушинка, это — просто так, а то и вовсе пустяк. А ты все прибирай: соринку в примету, пушинку — на память, так — за пазуху и пустяк в карман. Помни: не велика зверина комар, а и от него оберучь* не отмашешься.

И про то старики забывать не велели, чтоб со всякой стороны человека на полный вершок мерять. Бывает ведь,— иной, как говорится, и поет и пляшет, а не по-

слушать и не поглядеть. И наоборот случается. По всем статьям человек в нетунаях*, а то и вовсе в дураках ходит, а с одного боку светит, будто блёндочка в рудничных потемках. Навеска ведь не малая. Против лампешки, которая наверху коптит, а по бокам подмигивает, такая блёнда дорогого стоит. Ну, а та же блёндочка — мизюкалка* мизюкалкой против шахтного фонаря.

Про нонешний рудничный свет моим старикам, понятно, и во сне не виделось, а все-таки у них на больших подземных работах у главного подъемного ствола ставился особый фонарь. Круговым назывался. Он был много больше блёнды, светильня у него потолще, и какие-то в нем угольчатые стеклышки круговой лесенкой ставились. Главная сила в этих стеклышках да лесенке и была. Чуть лесенка прогиб дала либо какое стеклышко замутилось, сразу на шахтном дворе темно станет. А когда все в исправности, фонарь гонит свет ровно и сильно и большой круг захватывает.

Силу фонаря разгадать просто оказалось, а вот почему люди по-разному светятся — это еще понять и понять надо. Стеклышек поди-ко никому не поставлено. У каждого две руки, две ноги и в голове начинка не из гнилой соломы, а разница выходит большая. Один от всех печеней пыхтит-старается, а никому от него ни свету, ни радости. Другой опять к одному какому делу сроден, а в остальном бревно бревном. Есть и такие, что будто играючи живут, и во всем им удача. Лошадь купят — она и воз везет и в бегу от русака не отстает. Женится — ребята пойдут мост мостом, как груздочки после дождя, один другого ядреней, и жена не чахнет. Всякая работа у такого удачника спорится, и на праздничном лугу ни от песенников, ни от плясунов такой не отстанет. Вот и пойми эту штуку!

Старики про такой приметный случай рассказывали.

Не помню, в котором заводе был подмастерье при прокатном стане, прозваньем Гриньша Рыбка. Парень не то чтоб сильно могутный. Ну, все-таки здоровый и на работу ловкий. Известно, при прокатке медвежьим обычаем топтаться не приходится, пошевеливаться надо. Гриньша и пошевеливался веселенько. Со стороны смотреть любо. Другие, которые на прокатке, тоже народ складных статей. Были иные и рослее и могутнее Гриньши, а выстоять против него никому не удавалось. По-

датнее всех у него работа шла, и браку никакого.

При таком положении, понятное дело, без завистников не обойдешься, а тут еще и поводок был. Чуть ли не в одной смене с Гриньшей стоял Михалко Гвоздь. Мужик в тех же годах, и по работе его ничем не похаешь. Тоже в самолучших прокатчиках считался. Лицом чистяк, ус богатый, глаз с искоркой. Прямо сказать, из таких, на кого девчонки, да и молодые бабенки заглядываются: на мою бы долю такой пришелся.

Против этого Михалка Гвоздя у Гриньши неустойка случилась по житейскому делу. Они, видишь, как еще неженатиками ходили, на одну девушку нацелились. Не то чтоб богатая невеста, а из того девьего слою, про который говорят: не разберешь, чем взяла, веселым обычаем, густой бровью али крутым плечом.

Михалко Гвоздь сперва вроде опередил Гриньшу. Посватался, рукобитье сделали, насчет дня свадьбы уговорились. А Гриньша все-таки не отстает, свое нашептывает девушке:

— Неуж ты, Аганюшка, своей судьбы не чуешь?

Аганюшка слушала-слушала эту песню, да и учуяла свою судьбу: убегом за Гриньшу выскочила. Ее родня, понятно, шум подняла. Как так, по какому праву? Этак станут, так и на свадьбе не погуляешь. Гриньше грозили:

— Мы, дескать, этого вьюна-рыбу на поганой сковородке изжарим да собакам выбросим.

Гриньше это передавали, а он знай посмеивается.

— Вьюна,— говорит,— изжарить просто, да поймать нелегко.

По времени утихомирились, конечно. Видят — согласно молодые живут, себе на радость, соседям на погляденье. В работе друг от дружки не отстают и веселья не чураются. Чего еще надо? А Гриньша тут и подвернул:

— Может, и теперь свадьбу отгулять не опоздали? Мы с женой не прочь от этого, потому — без свадебной гулянки чего-то не хватает.

Аганина родня и растаяла от таких слов. Уж не вьюном Гриньшу зовут, а Рыбкой навеличивают да нахваливают:

— Рыбка — рыбка и есть. Поглядеть на него весело. Ловкий парень, что говорить! С таким мужем Аганя не затоскует.



Близко к первым родинам свадьбу справили. Отгуляли честь честью, сколько достатку хватило. Даже и те, кто еще сомневался в Гриньше, после свадебной гулянки в одно слово заговорили:

— Такого мужика поискать!

Ну, а Гвоздь все-таки не забыл своей обиды, он, конечно, тоже женился. Хорошую девушку взял, а против Гриньши злобу все-таки имел. По работе не один раз подвести хотел, да Гриньша тоже поглядывал и всякий подвох с лету узнавал.

С первых годов, случалось, Михалко Гвоздь и драку затевал, на кулак свой надеялся. Мужик могутный. Со стороны поглядеть — расшибет, а на деле не то оказывалось. Рыбка, глядишь, сверху сидит да Гвоздю гвозди заколачивает. На другой день в прокатном сойдутся. Гриньша ничем-ничего, веселехонек, а у Михалка кругом синяки да шишки понасажены.

С годами это прошло, конечно. Оба мастерами стали, только разница между ними большая. У Михалка и ус завял, и глаз помутнел, а Гриньша похаживает, как в молодые годы, будто и не постарел нисколько. И жена у него — Аганюшка-то — ребенка принесет, ровно цвету себе добавит.

Михалка завидки берут: почему такое? Вот он и придумал:

«Неспроста это, беспременно тут какая-нибудь тайность есть! Жив не буду, а разузнаю все до тонкости».

Ну, мужик въедливый. Недаром Гвоздем прозвали. Не только сам этим занялся, многих других подбил,— подглядывать да разузнавать стали.

Время тогда темное было, пустякам разным верили. Вот и пошел разговор о каких-то тайных родинках на теле да о счастливой рубашке. Только бабка, которая Гриньшу принимала, не дала ходу этим разговорам.

— Никаких,— говорит,— тайных родинок на теле не было, и счастливой рубашки не бывало.

Потом сплели, будто Гриньша каждое лето, в Иванову ночь, ходит в лес за тайной травкой. Не по один год в эту ночь подкарауливали, не пойдет ли куда Гриньша, а он себе спит-похрапывает на холодке, под навесом.

Тут еще что-то придумали, только видят — пустое дело. Живет мужик в открытую, от людей не таится, худого другим не делает, а кому и помогает по своей

силе-возможности. Тогда и решили: спросим самого. Выбрали часок, собрались, да и говорят:

— Скажи, Григорий Зотеич, по какой причине у тебя всегда в делах удача? В работе спорина, по семейности порядок и по домашности гладенько катится. Нет ли в том деле тайности?

А Егорша Задор еще полюбопытствовал:

— Дело, конечно, прошлое, а только дирался ты не один раз с Михайлом Гвоздем. Всем нам ведомо, что Гвоздь крепче тебя и в развороте не уступит, а почему всегда ты долбил Гвоздя, а ему ни разу не довелось тебя поколотить?

Гриньша и объяснил по совести.

— Никакой,— говорит,— тайности в том деле нет, а только я приметливый и ни одно дело ниже другого не ставлю. По-моему, хоть железо катать, хоть петли метать, хоть траву косить али бревна возить — все выучка требуется и не как-нибудь, а по-настоящему. Если какое дело не знаю, за то не возьмусь, а придется, так сперва поищу у кого поучиться, чтоб по-хорошему вышло.

Простое, скажем, дело литовку* отбить либо пилу наточить. Всяк будто умеет, а на поверку выходит — из сотни один. Вот я и гляжу, у кого литовка самоходом идет и махров не оставляет, у кого пила сама режет, только наднеси. У тех, значит, и учусь,— и ладно выходит. Ну, кругом себя тоже смотреть не забываю. Без этого нельзя. Ежели, к примеру, ты семью завел, так об этом днем и ночью помнить обязан. Последнее дело, коли себя в исправности содержишь, а ребят балуками да неслухами вырастишь. Большого догляду да забот это дело требует.

Рассказал этак-то и говорит:

— Вот и вся моя тайность: ни одно дело пустяком не считаю и кругом себя гляжу. И касательно драчишек с Михайлом то же самое. К дракам у меня охоты не было, ну, знал,— без этого на веку не проживешь, вот и примечал с малолетства, в какую косточку стукнуть больнее. Этим Михайлу и брал. Сила у него, конечно, медвежья, а сноровки нет. Думает — драться без учебы можно, а оно не так. Не найдешь такого, чтобы без сноровки обошлось, а где она — там и выучка.

Рассказал Гриньша по-честному, как сам понимал, а многие все-таки ему не поверили, при своем остались —

счастливым, дескать, уродился. Гвоздь, как узнал про этот разговор, только рукой махнул.

— Слушайте вы его! Он наскажет! Мало ли приметливых людей, да не у всякого такая удача! Беспременно тут тайность есть, да найти ее не можем.

Только и Михайлу слушать не стали, ребячий, дескать, разговор. Так настояще и не решили, а ведь Гриньша правду говорил.

По теперешним временам это виднее стало. Недавно вон одного вальцовщика в Книгу почета записывали. Так и сяк поворачивали, а на одно вышло. По всей работе лучше всех, и ребята у него отличники, свою учебу не забывает и даже по картошке на первое место среди своих заводских вышел. Однем словом, круговой фонарь. Только как он в партии состоит, по-другому его похвалили:

— С какой стороны ни поверни — все коммунист.

1944

ОБЪЯСНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ, ПОНЯТИЙ И ВЫРАЖЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СКАЗАХ

Артýть — ртуть. Артýть-девка — подвижная, быстрая.

Балóдка — одноручный молот
Бáсенький, -ая — красивенький, -ая.
Бергáл — переделка немецкого «бергауэр» — горный рабочий. Сказителем это слово употреблялось в смысле «старший рабочий»
Блáзнить — казаться, мерещиться.
Блёнда, блёндочка — рудничная лампа.

Вкрýте — круто.
Вóжгаться — биться над чем-нибудь, упорно и длительно трудиться.
Врýбовка — врубовая машина.

Гáлиться — издеваться, мучить с издевкой.
Глядéльце — разлом горы, глубокая промоина, выворотень от упавшего дерева — место, где видно напластование горных пород.
Гóлбец — подполье.
Голк — шум, гул, отзвук

Дáча — здесь, земельные и лесные угодья.
Долúть — одолевать, долúть приняла — стала одолевать.

Забéдно — обидно.
Забóй — место в руднике, где вырубают руду, каменный уголь.
Завóзня — род надворной постройки с широким входом, чтобы можно было завозить туда на хранение телеги, сани и пр.
Зáвсе — постоянно.
Задéлье — предлог
Зарукáвье — браслет
Змеиный праздник — 25 (12) сентября.

Из кистей выпала — Раньше на Урале в сельских местностях и в городских поселках женщины в большие праздники надевали поверх сарафана пояса, вытканные из чистого разноцветного гаруса. Мужчины тоже носили такие пояса, только они были чуть поуже, а кисти покороче. Красивая девочка сравнивается с гарусинкой, выпавшей из кистей такого пояса. *(Примеч. В. А. Бажовой.)*
Изрóбиться — выбиться из сил от непосильной работы, потерять силу, стать инвалидом.

Каёлка, кайлó, кайлá — инструмент, которым горнорабочие отбивают, откалывают руду
Кошмá, кошóмка — войлочная подстилка.
Крéпость — крепостная пора, крепостничество.
Крóсны — ручной ткацкий станок, на котором ткут холст

Литóвку отбить наточить косу **Литóвка** большая коса

Мертвя́к — мертвец.
Мизю́калка — насмешник. **Мизю́лить** насмехаться, пересмешничать.
Мра́морски — здесь. жители поселка **Мрамор, Мраморского завода** — (в 40 километрах к юго-западу от Свердловска) занимались исключительно камнерезным делом, главным образом, обработкой мрамора, змеевика, яшмы.

На́ли даже.
Не óхтимнеченьки живут без затруднений, без горя, спокойно.
Неочёсливый неучтивый, невежа.
Не того слова — сейчас, немедленно, без возражений
Нетуна́й вздорный, бестолковый человек.

Оберу́чь обеими руками.
Обóй куски камня, которые откалываются, отбиваются при первоначальной грубой обработке, при **околтывании**
Obрата́ть надеть оброт, недоуздок, подчинить себе, обуздать
Обу́й обувь.
Объедь — ядовитые растения, которыми объедается скот
Околта́ть обтесать камень, придать ему основную форму
Ону́чи обвертки на ноги под сапоги, портянки
Отка́ть отброс.
Оту́товеть — отойти, прийти в нормальное состояние
Охлёстыш, охлёст, охлёстка, охлёстанный хвост, подол — человек с грязной репутацией, который ничего не стыдится, наглец, обидчик.

Пару́н — жаркий день после дождя.
Пехлó — доска, посаженная поперек черня, род скребка для перегребания и разборки промывных песков.
Пимы́ — валенки.
Пóгалиться — насмехаться, издеваться, измываться.
Пожа́рна — она же **машина** в сказах упоминается как место, где производится истязание рабочих. **Пожарники** фигурируют как палачи.
Помучне́ть — побледнеть.
Пона́сердке — по недоброжелательству, по злобе, из мести
Понúток — верхняя одежда из домотканого сукна (шерсть по льняной основе).
Пóлер навести — отшлифовать.
Пословный — послушный, кто слушается «по слову», без дополнительных понуканий, окриков.
Пра́виться — направляться, держать направление.
Пригóн — общее название построек для скота (куда пригоняли скот)
Прика́зчик — представитель владельца на заводе, главное лицо впоследствии таких доверенных людей называли по отдельным заводам управителями, а по округам — управляющими
Приходить на кого-либо обвинять кого-либо, винить
Причтётся — придется.

Разболочи́ться — раздеться.

Разоста́вок — то, чем можно расставить ткань: вставка, клин, лоскут; в переносном смысле — подспорье, прибавок, подмога.

Ремьё, ремки́ — лохмотья, отрепья. **Ремками трясти** — ходить в плохой одежде, в рваном, в лохмотьях.

Ро́счисть — место для пашни, вырубленное и выжженное в лесу.

Са́жень — мера длины, равная 2,13 м.

Самондра́вный — своенравный.

Сам-Петербурх — искаженное «Санкт-Петербург», ныне Ленинград.

Скуда́ться — хилеть, недомогать, хворать.

Скы́ркаться — скрести, скрестись (в земле).

Смо́тник, -ца — сплетник, -ца.

Сноровля́ть, снорови́ть — содействовать, помогать, сделать кстати, по пути.

Со́йкнуть — вскрикнуть от испуга, неожиданности (от междометия «ой»).

Спра́вный — исправный, зажиточный; **спра́ва** — одежда, внешний вид. Одежонка справная — то есть неплохая. **Спра́вно живут** — зажиточно. **Спра́ва-то у ней немудренькая** — одежонка плохая.

Стара́тель — человек, занимающийся поиском и добычей золота.

Сурьмя́ный — окрашенный в черный цвет.

То́нцы-звонцы — танцы, веселье.

Туя́сь, туе́сь, туесо́к, туeсо́чек — берестяной бурак, кузовок.

Уму́ется — близок к помешательству; заговаривается.

Утлый — ветхий, старый.

Фа́ску снять — обточить грань.

Хи́тник — грабитель, вор, хищник.

Часова́ть — быть при смерти.

Чирла́ — яичница, скороспелка, скородумка, глазунья (от звука, который издают выпускаемые на сковородку яйца).

Ште́йгер — мастер рудных работ.

Ще́гарь — см. «штейгер».

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

Для среднего возраста

Бажов Павел Петрович

КЛЮЧ ЗЕМЛИ

Уральские сказы

Ответственный редактор *Н. П. Посвянская*
Художественный редактор *Е. М. Ларская*
Технический редактор *Г. Г. Рыжкова*
Корректоры *И. Н. Мокина, Э. Я. Сербина*

ИБ № 12633

Подписано к печати с готовых диапозитивов 15.06.89. Формат 84×108[1]/32. Бум. кн.-журн. № 2. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 8,82. Уч.-изд. л. 9,01. Тираж 200 000 экз. Заказ № 2457. Цена 65 к.
Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Госкомиздата РСФСР. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот».

Бажов П. П.

Б16 Ключ земли: Уральские сказы/Вступ. ст. А. Кондратовича; Рис. В. Самойлова.— Переизд.— М.: Дет. лит., 1989.—159 с.: ил.

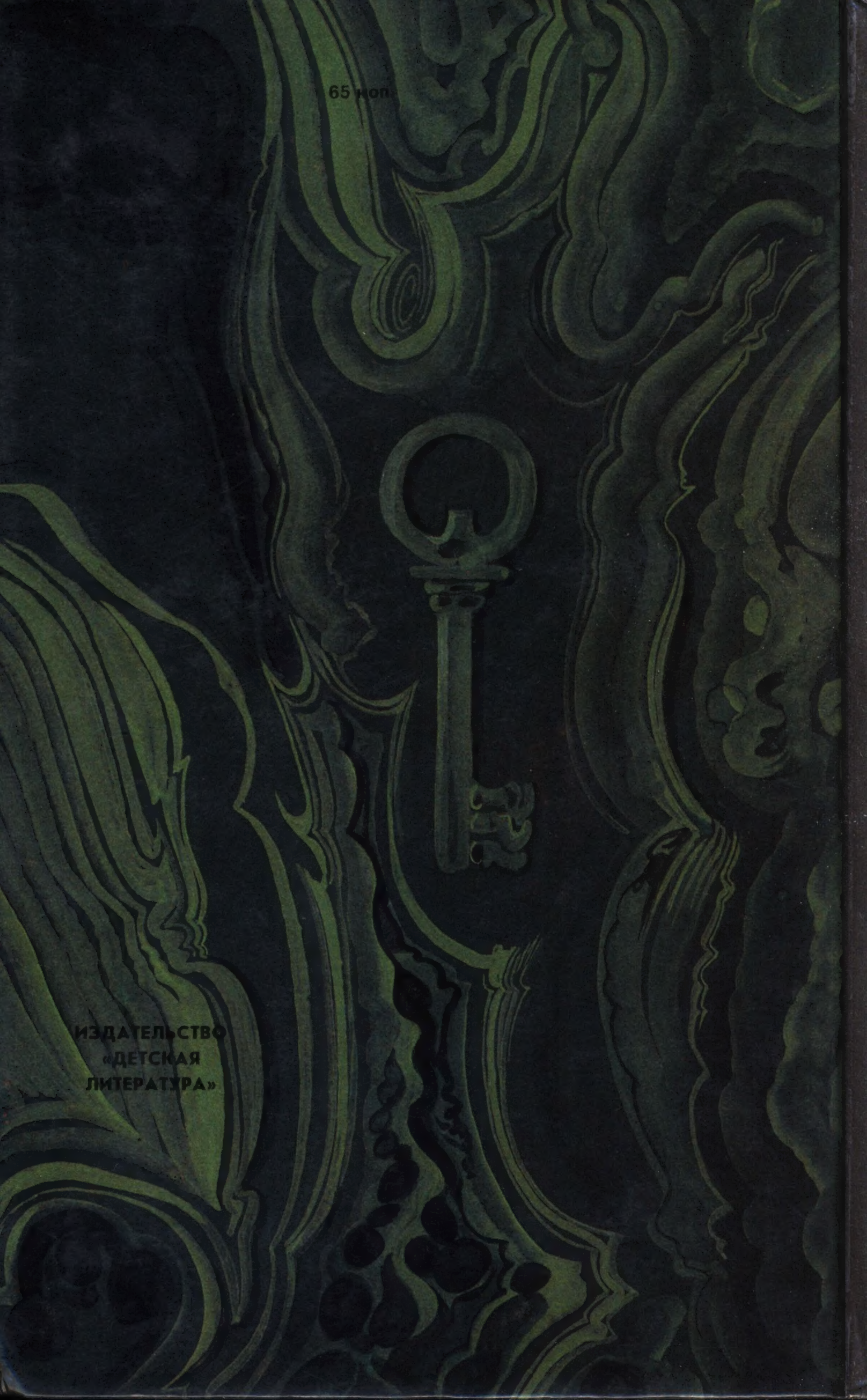
ISBN 5—08—002237—X

В книгу вошли сказы П. Бажова: «Медной горы Хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Живинка в деле», «Ключ земли» и др.

Б $\frac{4803010102-379}{М101(03)-89}$ Без объявл. **ББК 84Р1**






65 коп.
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

